

ГЕНРИК  
**СЕНКЕВИЧ**

Огнем и мечом



✦ КЛАССИКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА ✦

Трилогия

Генрик Сенкевич

**Огнем и мечом**

«АСТ»

1884

**Сенкевич Г.**

Огнем и мечом / Г. Сенкевич — «АСТ», 1884 — (Трилогия)

ISBN 978-5-17-066617-1

Самый прославленный роман Генрика Сенкевича, признанный классикой историко-приключенческой литературы, не однажды положенный в основу талантливых и увлекательных фильмов и многосерийных саг... История смутного времени по-польски. История жестокого и беспощадного противостояния народов Речи Посполитой – поляков, литовцев, украинцев... История юного польского дворянина, его великой любви, личностного становления в лихую годину перемен и опасных приключений. История, в которой реально существовавшие и вымышленные гением Сенкевича персонажи и события переплетены настолько плотно, что различить их не сможет даже самый придирчивый читатель...

ISBN 978-5-17-066617-1

© Сенкевич Г., 1884

© АСТ, 1884

## Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	13
Глава III	22
Глава IV	33
Глава V	45
Глава VI	56
Глава VII	60
Глава VIII	64
Глава IX	70
Глава X	76
Глава XI	80
Глава XII	90
Глава XIII	95
Глава XIV	99
Глава XV	107
Глава XVI	119
Конец ознакомительного фрагмента.	125



# Генрик Сенкевич

## Огнем и мечом

### Часть первая

#### Глава I

Год 1647 был год особенный, ибо многообразные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями.

Тогдашние хронисты сообщают, что весною, выплотившись в невиданном множестве из Дикого Поля, саранча поела посевы и травы, а это предвещало татарские набеги. Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах. Над Варшавою являлись во облаке могила и крест огненный, по каковому случаю назначалось поститься и раздавали подавание, ибо люди знающие пророчили, что мор поразит страну и погибнет род человеческий. Ко всему еще и зима наступила столь мягкая, какой и старики не упомнят. В южных воеводствах реки вообще не сковало льдом, и, каждодневно питаемые снегом, тающим с утра, они вышли из берегов и позаливали поймы. Часто шли дожди. Степь размокла и сделалась большою лужею, солнце же в полдни припекало так, что – диво дивное! – в воеводстве Брацлавском и на Диком Поле луга и степь зазеленели уже к середине декабря. Рои на пасеках колотились и гудели, а по дворам мычала скотина. Поскольку ход натуры вовсе, казалось, повернул вспять, все на Руси, ожидая небывалых событий, обращались тревожной мыслью и взором к Дикому Полю, так как беда могла прийти скорее всего оттуда.

На Поле же ничего примечательного не происходило. Никаких особых побоищ или стычек, кроме привычных и всегдашних, не случалось, а об этих ведали разве что орлы, вороны, ястребы и полевой зверь.

Уж таким оно, это Поле, было. Последние признаки оседлой жизни к югу по Днепру обрывались вскоре за Чигирином, а по Днестру – сразу за Уманью; далее же – до самых до лиманов и до моря – только степь, как бы двумя реками окаймленная. В днепровской излучине, на Низовье, кипела еще за порогами казацкая жизнь, но в самом Поле никто не жил, разве что по берегам, точно острова среди моря, кое-где попадались «паланки». Земля, хоть и пустовавшая, принадлежала *de nomine*<sup>1</sup>. Речи Посполитой, и Речь Посполитая позволяла на ней татарам пасти скот, но коль скоро этому противились казаки, пастбища то и дело превращались в поле брани.

Сколько в тех краях битв отгремело, сколько народу полегло – ни счесть, ни упомнить. Орлы, ястребы и вороны – одни про то и знали, а кто в отдалении слышал плескание крыл и карканье, кто замечал птичьи водовороты, над одним кружащиеся местом, тот знал, что либо трупы, либо кости непогребенные тут лежат... На людей в травах охотились, словно на волков или сайгаков. Охотился кто хотел. Преступник в дикой степи спасался от закона, вооруженный пастырь стерег стада, рыцарь искал приключений, лихой человек – добычи. Казак – татарина, татарин – казака. Бывало, что и целые дружины стерегли скот от бесчисленных охотников до чужого. Степь, хоть и пустовавшая, вместе с тем была не пустая; тихая, но зловещая; безмятежная, но полная опасностей; дикая Диким Полем, но еще и дикостью душ.

Порою прокатывалась по ней большая война. Тогда волнам подобно плыли татарские чамбулы, казацкие полки, польские или валашские хоругви; по ночам ржание коней вторило

---

<sup>1</sup> номинально (лат.).

волчьему вою, голоса барабанов и медных труб долетали до самого Овидова озера, а то и до моря, а на Черном Шляхе, на Кучманском – тут, можно сказать, просто половодье людское. Рубеж Речи Посполитой стерегли от Каменца и до самого до Днепра заставы и «паланки», так что, если дороги грозились наводниться пришельцами, об этом узнавали по бесчисленным птичьим стаям, взволнованным чамбулами и устремлявшимся на север. Но татарин – выступи он из Черного Леса или перейди Днестр с валашской стороны – появлялся все-таки в южных воеводствах вместе с птицами.

Однако в зиму ту шумливые птицы не устремлялись к Речи Посполитой. В степи было даже тише обычного. К началу повествования нашего солнце уже садилось, и красноватые лучи его озаряли округу, пустынную совершенно. По северному краю Дикого Поля, по всему Омельнику до самого его устья наизорчайший взгляд не углядел бы ни живой души, ни даже малейшего движения в темном, сохлом и поникшем бурьяне. Солнце теперь только половиною круга своего виднелось над горизонтом. Небо меркло, отчего и степь помалу погружалась в сумрак. На левом берегу, на небольшой возвышенности, скорее похожей на курган, чем на холм, еще виднелись остатки каменной твердыни, поставленной некогда Теодориком Буцацким и разрушенной затем войнами. От руин этих ложились длинные тени. Внизу поблескивали воды широко разлившегося Омельника, в месте том сворачивавшего к Днепру. Но свет все более меркнул и на небе, и на земле. С высоты доносились клики журавлей, тянувших к морю, более же ни один голос безмолвия не нарушал.

Ночь легла на пустыню, а с нею пришло и время духов. По заставам не смыкавшие глаз рыцари рассказывали тогда друг другу, что ночами являются в Диком Поле призраки тех, кто погиб или умер без покаяния напрасной смертью, и кружатся вереницами, в чем не помеха им ни крест, ни храм Господень. Поэтому, когда шнуры, указывавшие полночь, начинали догорать, на заставах по этим несчастным служили заупокойную. Еще рассказывали, будто такие же тени, но всадников, скитаясь по глухим местам, заступают дорогу проезжим, стеная и моля о знаке креста святого. Бывали призраки, пугавшие людей воем. Искушенное ухо издалека могло отличить их завывания от волчьих. Еще видали целые воинства теней – эти иногда столь близко подходили к заставам, что часовые трубили *lagum*<sup>2</sup>. Такие случаи предвещали, как правило, немалую войну. Встреча с одиночной тенью тоже не сулила ничего хорошего, но не всегда следовало предполагать недоброе, ибо перед дорожными иногда и живой человек возникал и пропадал, как тень, так что только призраком и мог быть сочтен.

А поскольку над Омельником спустилась ночь, ничего не было удивительного в том, что сразу – возле заброшенной крепости – возник не то дух, не то человек. Луна, как раз выглянувшая из-за Днепра, выбелила пустынную местность, головки репейников и степные дали. Тотчас ниже по течению в степи появились какие-то ночные создания. Мимолетные тучки то и дело застили луну, и облики эти то белелись во тьме, то меркли. Иногда они пропадали вовсе и как бы таяли во мраке. Приближаясь к вершинке, на которой стоял упомянутый всадник, они, то и дело останавливаясь, тихо, осторожно и медленно крались.

В движении этом было что-то пугающее, впрочем, как и во всей степи, с виду такой безмятежной. Ветер порою задувал с Днепра, поднимая печальный шелест в сохлых репьях, клонившихся и трепетавших точно с перепугу. Но вот, поглощенные тенью развалин, облики пропали. В бледном сиянии ночи видать было только недвижимого на взгорье всадника.

Однако шелест привлек и его внимание. Подъехав к самому крутояру, он внимательно стал вглядываться в степь. Сразу улегся ветер, шелест умолк, и сделалась тишина мертвая.

Вдруг раздался пронзительный свист. Многие голоса разом и душераздирающе завопили: «Алла! Алла! Иисусе Христе! Спасай! Бей!» Загремели самопалы, красные вспышки разорвали мрак. Конский топот смешался с лязгом железа. Еще какие-то всадники возникли в степи

<sup>2</sup> тревогу, сигнал к бою (лат.).

словно из-под земли. Настоящая буря взметнулась в этой только что безмолвной и зловещей пустыне. Потом стоны человеческие стали вторить страшным воплям, и наконец все утихло. Бой закончился.

Надо полагать – в Диком Поле разыгрывалась одна из обычных сцен.

Всадники съехали на взгорье, некоторые спешили, внимательно к чему-то приглядываясь.

Из темноты послышался громкий, повелительный голос:

– Эй там! Высечь огня да запалить!

Тотчас посыпались искры, и сразу вспыхнул сухой очерет с лучиной, каковые путешественный по Дикому Полю всегда возил с собою.

Немедля в землю был воткнут шест с каганцом, и падающий сверху свет резко и ярко осветил десятка полтора людей, склонившихся над кем-то, недвижно распростертым.

Это были воины в красной придворной форме и в волчьих шапках. Один, сидевший на добром коне, по виду командир, спрыгнув на землю, подошел к лежащему и спросил у кого-то:

– Ну что, вахмистр? Живой он или нет?

– Живой, пан наместник, хрипит вот, арканом его придушило.

– Кто таков?

– Не татарин, важный кто-то.

– Оно и слава Богу.

Наместник внимательно пригляделся к лежащему человеку.

– По виду гетман, – сказал он.

– И конь у него – аргмак редкостный, какого и у хана нету, – ответил вахмистр. – Да вон его держат!

Поручик поглядел, и лицо его просветлело. Рядом двое солдат держали и вправду отменного скакуна, а тот, прижимая уши и раздувая ноздри, протягивал голову и глядел устранным глазом на лежащего хозяина.

– Уж конь-то, конечно, наш будет? – поспешил спросить вахмистр.

– А ты, подлая душа, христианина в степи без коня оставить хочешь?

– Так ведь в бою взятый...

Дальнейший разговор был прерван вовсе уж громким хрипением удушенного.

– Влить человеку горелки в глотку! – сказал наместник. – Да пояс на нем распустишь.

– Мы что – тут и заночуем?

– Тут и заночуем! Коней расседлать, костер запалить.

Солдаты живо бросились исполнять приказания. Одни стали приводить в чувство и растирать лежащего, другие отправились за очеретом, третьи разостлали для ночлега верблюжьи и медвежьи шкуры.

Наместник, не беспокоясь более о полузадушенном незнакомце, расстегнул пояс и улегся возле костра на бурку. Был он очень молод, сухощав, черноволос и весьма красив; лицо имел худое, а нос – выдающийся, орлиный. Взор наместника пылал бешеной отвагою и задором, но выражение лица при этом не теряло степенности. Значительные усы и давно, как видно, не бритая борода вовсе делали его не по возрасту серьезным.

Тем временем двое солдат стали готовить ужин. Они пристроили на огне заготовленные бараньи четверти, из тороков вытащили несколько дроф, подстреленных днем, несколько куропаток и одного сайгака, которого солдат тут же принялся обдирать. Костер горел, отбрасывая в степь огромный красный круг. Удушенный стал потихоньку приходить в себя.

Какое-то время водил он налитыми кровью глазами по незнакомцам, затем попытался встать. Солдат, прежде разговаривавший с наместником, приподнял лежавшего, подхватив под мышки; другой сунул ему в руки обушок, на который незнакомец тяжело оперся. Лицо его с

надувшимися жилами оставалось багровым. Наконец сдавленным голосом он прохрипел первое слово:

– Воды!

Ему дали горелки, которую он пил и пил, и, как видно, не без пользы, потому что, оторвавшись наконец от фляги, спросил уже более отчетливо:

– У кого это я?

Наместник встал и подошел к нему.

– У тех, кто вашу милость спасением подарили.

– Значит, не вы накиннули аркан?

– Наше дело, милостивый государь, сабля, не аркан. Бесчестишь добрых жолнеров подозрением. А поймали тебя какие-то лихие люди, татарами переодетые. На них, ежели любопытствуешь, можешь поглядеть; вон они, как бараны порезанные, лежат.

И наместник указал рукой на темные тела, лежавшие у подошвы взгорья.

Незнакомец на это сказал:

– Если так – позвольте же мне отдышаться.

Ему подложили войлочную кульбаку, устроившись на которой он погрузился в молчание.

Это был мужчина в расцвете лет, среднего роста, в плечах широкий, почти исполинского телосложения, с поразительными чертами лица. Голову он имел огромную, кожу дряблую, очень загорелую, глаза черные и, точно у татарина, слегка раскосые; узкий рот его обрамляли тонкие усы, по оконечьям расходившиеся широкими кистями. На мощном лице были написаны отвага и высокомерие. Тут совмещалось что-то притягательное и вместе с тем отталкивающее: гетманское достоинство, смешанное с татарской лукавостью, благожелательность и злость.

Отсидевшись несколько времени, он встал и, не поблагодарив, совершенно неожиданно отправился глядеть на убитых.

– Мужлан! – буркнул наместник.

Незнакомец между тем внимательно вглядывался в лицо каждому, качал головою, словно поняв что-то, а затем медленно направился к наместнику, шаря по бокам и машинально ища пояс, за который хотел, как видно, заложить руку.

Не понравилась молодому наместнику таковая значительность в человеке, только что вынутом из петли, поэтому он язвительно сказал:

– Можно подумать, что ты, ваша милость, знакомых ищешь среди этих воров или заупокойную по ним говоришь.

Незнакомец серьезно ответил:

– И не ошибаешься ты, сударь, и ошибаешься; не ошибаешься, потому что искал я знакомых, однако, называя их татями, ошибаешься, ибо это слуги некоего шляхтича, моего соседа.

– Не из одного, видать, колодца берете воду вы с тем соседом.

Странная какая-то усмешка скользнула по тонким губам незнакомца.

– И в этом ты, сударь, ошибаешься, – пробормотал он сквозь зубы.

Спустя же мгновение добавил погромче:

– Однако прости мне, ваша милость, что я надлежащей не выразил благодарности за *auxilium*<sup>3</sup> и успешное спасение, каковые меня от столь неожиданной смерти упасли. Мужество твое, ваша милость, покрыло неосмотрительность того, кто от людей своих отдалился; но благодарность моя самоотверженности твоей не меньше.

Молвив это, он протянул руку наместнику.

Однако самоуверенный молодой человек даже не пошевелился и своей протягивать не спешил. Зато сказал:

---

<sup>3</sup> помощь (лат.).



– Нелишне бы сперва узнать, со шляхтичем ли имею честь, ибо хоть и не сомневаюсь в этом, но анонимные благодарности полагаю неуместными.

– Вижу я в тебе, сударь, истинно рыцарские манеры, и полагаешь ты справедливо. Речи мои, да и благодарность тоже, следовало мне предварить именем своим. Что ж! Перед тобою Зиновий Абданк, герба Абданк с малым крестом, шляхтич Киевского воеводства, оседлый и полковник казацкой хоругви князя Доминика Заславского тож.

– Ян Скшетуский, наместник панцирной хоругви светлейшего князя Иеремии Вишневецкого.

– Под славным началом, сударь, служишь. Прими же теперь благодарность мою и руку.

Наместник более не колебался. Панцирное товарищество хоть и глядело свысока на жолнеров других хоругвей, но сейчас пан Скшетуский находился в степи, в Диком Поле, где таким околичностям придавалось куда меньше значения. К тому же он имел дело с полковником, в чем тотчас же воочию убедился, потому что солдаты, возвращая Абданку пояс и саблю, мешавшие им приводить незнакомца в чувство, подали ему и короткую булаву с костяной рукояткой и яблоком из скользкого рога – обычную регалию казацких полковников. Да и платье на его милости Зиновии Абданке было богато, а умелый разговор обнаруживал живость ума и знание светского обхождения.

Так что пан Скшетуский пригласил его отужинать, поскольку от костра, дразня обоняние и аппетит, потянулся уже запах жареного. Солдат извлек мясо из огня и подал на оловянном блюде. Стали есть, а когда принесен был изрядный мех молдаванского вина, сшитый из козловой шкуры, завязалась и нескучная беседа.

– За наше скорое и благополучное возвращение! – возгласил пан Скшетуский.

– Ты сударь, возвращаешься? Откуда же, позволю поинтересоваться? – спросил Абданк.

– Издалече. Из самого Крыма.

– Что же ты там делать изволил? Выкуп возил?

– Нет, сударь полковник. К самому хану ездил.

Абданк с любопытством насторожился.

– Однако же в приятной компании побывал! С чем же ты к хану ездил?

– С письмом светлейшего князя Иеремии.

– Так ты в послах был! О чем же его милость князь изволил писать хану?

Наместник быстро глянул на собеседника.

– Сударь полковник, – сказал он, – ты глядел в глаза татям, которые тебя заарканили, и это дело твое; но о чем князь писал хану, это дело не твое и не мое, а их обоих.

– Я было удивился, – хитро заметил Абданк, – что его милость князь столь молодого человека послом к хану отправил, но, услышав твой, сударь, ответ, более не удивляюсь, ибо хоть и молод ты годами, но опытностью и разумом зрел.

Наместник невозмутимо выслушал лестное замечание, покрутил разве что молодой ус и спросил:

– А скажи-ка мне, ваша милость, что поделываешь ты возле Омельника и откуда тут взялся, да еще один?

– А я не один, я людей на дороге оставил, и еду я в Кудак к пану Гродзицкому, командующему тамошним гарнизоном, к каковому меня его милость великий гетман послал с письмами.

– Отчего же ты не поплыл на байдаках?

– Таков был приказ, от коего отступать мне не подобает.

– Странно, и весьма, что его милость гетман так распорядился, ведь в степи-то ты и попал в столь неприятную передрагу; едучи же водою, наверняка избежал бы ее.

– Степи, сударь мой, теперь спокойные, я их знаю хорошо, а приключившееся – это злоба человеческая и *invidia*.<sup>4</sup>

– Кому же ты так не по душе?

– Долго рассказывать. Видишь ли, сударь наместник, сосед подлый у меня; он и мое имение уничтожил, и вотчину оттягать хочет, и сына моего побил. А теперь, как ты сам видел, и на мой живот покусился.

– Да ты, ваша милость, не при сабле разве?

Тяжелое лицо Абданка на мгновение вспыхнуло ненавистью, глаза хмуро загорелись, и он ответил медленно, неторопливо и четко:

– При сабле. И да оставит меня Господь, если отныне я лучшей управы против врагов моих искать стану.

Наместник хотел было что-то сказать, но вдруг из степи донесся конский топот, вернее, торопливое жваканье копыт по размокшей траве.

Сразу и слуга наместника, выставленный караульным, прибежал сообщить, что на подходе какие-то люди.

– Это, наверно, мои, – сказал Абданк. – Я их сразу за Тясмином оставил и, никак не полагая засады, договорился ждать здесь.

Минуты не прошло – и толпа всадников окружила полуколыцом взгорье. Костер вырвал из темноты головы коней, раздувавших ноздри и фыркавших от усталости, а над ними – настороженные лица седоков. Прикрывая ладонями от слепившего яркого света глаза, они быстро оглядывали всех, кто был в соседстве костра.

– Гей, люди! Кто вы? – спросил Абданк.

– Рабы божьи! – ответили голоса из темноты.

– Они! Мои молодцы! – подтвердил наместнику Абданк. – А ну-ка сюда!

Несколько всадников спешили и подошли к костру.

– А мы торопились, торопились, б а т ь к у. Щ о з т о б о ю?..<sup>5</sup>

– В засаду попал. Хведько, иуда, знал место и поджидал тут со своими. Заранее выехал. Аркан на меня накинули!

– С п а с и Б о г! С п а с и Б о г! А что же за полячишки тут с тобою?

Говоря это, они недобро поглядывали на Скшетуского и его спутников.

– Это други честные, – сказал Абданк. – Слава Богу, цел я и невредим. Сейчас дальше поедем.

– Слава Богу! Мы готовы.

Подъехавшие стали греть над огнем руки, так как ночь стояла хоть и ясная, но холодная. Было их человек сорок, причем всё люди рослые и хорошо вооруженные. Они совсем не походили на реестровых казаков, что весьма озадачило пана Скшетуского, особенно еще и потому, что подъехали они в столь немалом количестве. Все это показалось наместнику очень подозрительным. Если бы великий гетман послал его милость Абданка в Кудак, он бы, во-первых, придал ему конвой из реестровых, а во-вторых, зачем бы велел идти до Чигирина степью, а не водой? Ведь переправы через все реки, текущие по Дикому Полю к Днепру, могли только затянуть поездку. Похоже было, что его милость Абданк Кудак-то как раз и хотел миновать.

Да и сама особа Абданка весьма озадачивала молодого наместника. Он сразу же обратил внимание, что казаки, со своими полковниками обращавшиеся без лишних церемоний, этого окружали почтением необычайным, словно какого гетмана. Видать, был он рыцарь первейший, что тем более удивляло пана Скшетуского, ибо, зная Украину по ту и эту стороны Днепра, ни

---

<sup>4</sup> зависть (*лат.*).

<sup>5</sup> Разрядкой выделены встречающиеся у Сенкевича украинские слова и фразы. (Написание их приведено в соответствие с нормами украинского языка.) – *Примеч. пер.*

о каком таком знаменитом Абданке он не слыхал. А между тем в обличье мужа сего было явно что-то необыкновенное – некая скрытая сила, которою, точно пламя жаром, дышал весь его облик; некая железная воля, свидетельствовавшая, что человек этот ни перед чем и ни перед кем не отступит. Такою же волею исполнен был и облик князя Иеремии Вишневецкого, но то, что у князя было врожденным натуры свойством, присущим высокому происхождению и положению, в муже неизвестного имени, затерявшемся в степной глуши, могло озадачить.

Пан Скшетуский основательно призадумался. То ему приходило в голову, что незнакомец, возможно, какой-то именитый изгнанник, скрывавшийся от приговора в Диком Поле; то – что перед ним вожак разбойной ватаги. Последнее, однако, было неправдоподобно. И платье, и речь этого человека свидетельствовали прямо противоположное. Поэтому наместник, оставаясь все время настороже, не знал, что и думать, а между тем Абданк уж и коня себе подать приказал.

– Сударь наместник, – сказал он, – нам пора. Позволь же еще раз поблагодарить тебя за спасение, и дай мне боже отплатить тебе таковою же услугой!

– Не знал я, кого спасал, оттого и благодарности не заслуживаю.

– Скромность это в тебе говорит, отваге твоей не уступающая. Прими же от меня сей перстень.

Наместник, смерив Абданка взглядом, поморщился и отступил на шаг, а тот, с отцовской прямо-таки торжественностью в манерах и в голосе, продолжал:

– Взгляни же. Не драгоценностью этого перстня, но другими его достоинствами дарю я тебя. Будучи молодых лет и в басурманской неволе, получил я его от богомольца, который из Святой Земли возвращался. В камушке оном заключен прах Гроба Господня. От подарка такого отказываться не годится, хоть бы даже он из ославленных рук воспоследовал. Ты, сударь, человек молодой и солдат, а коль скоро и старость, могиле близкая, не ведает, что с нею перед кончиною случиться может, что же тогда говорить о младости? Имея впереди век долгий, ей с куда большими превратностями суждено столкнуться! Перстень же сей убережет тебя от беды и охранит, когда наступит година судная, а должен я тебе сказать, что година эта уже грядет в Дикое Поле.

Наступило молчание; слышно было только попыхиванье костра и конское фырканье.

Из дальних камышей донесся тоскливый волчий вой. Внезапно Абданк сказал как бы сам себе:

– Година судная грядет в Дикое Поле, а когда нагрянет, з а д и в и т ь с я в е с ь с в і т б о ж и й...

Наместник, озадаченный словами странного мужа, машинально взял перстень.

Абданк же устремил взгляд в степную темную даль, потом не спеша повернулся и сел на коня. Молодцы ждали его у подножья.

– В путь! В путь!.. Оставайся в здравии, друже-жолнер! – сказал он наместнику. – Времена теперь такие, что брат брату не доверяет, оттого ты и не знаешь, кого спас; я ведь имени своего тебе не сказал.

– Ваша милость не Абданк, значит?

– Это мой герб...

– А имя?

– Богдан Зиновий Хмельницкий.

Сказавши это, он съехал по склону. За ним двинулись и молодцы. Вскоре сокрыла их тьма и ночь. И лишь когда отделились они этак на полверсты, ветер принес к костру слова казацкой песни:

Ой, визволи, Боже нас всіх, бідних невільників,  
З тяжкої неволі,

З віри басурманської —  
На ясній зорі,  
На тихій воді,  
У край веселий,  
У мир хрещений. —  
Вислухай, Боже, у просьбах наших,  
У нещасних молитвах,  
Нас, бідних нивільників.

Голоса помалу стихали, а потім слились с ветерком, шелестевшим в камышах.

## Глава II

Прибыв утром следующего дня в Чигирин, пан Скшетуский стал на постой в доме князя Иеремии, где имел достаточно времени дать людям и коням отдохнуть и отдышаться после долгого из Крыма путешествия, которое по причине высокой воды и необычайно быстрого днепровского течения пришлось проделать по суше, поскольку ни один байдак не мог в ту зиму проплыть вверх по Днепру. Сам Скшетуский сперва тоже малость отдохнул, а потом отправился к пану Зацвилюховскому, бывшему комиссару Речи Посполитой, старому солдату, который, не служа у князя, был тем не менее княжеским наперсником и другом. Наместник намеревался разузнать, не поступало ли из Лубен каких распоряжений. Князь, однако, никаких особых распоряжений не оставлял, а просто велел Скшетускому в случае, если ханский ответ будет благоприятным, не спешить, чтобы людям и коням без нужды не утомляться. К хану же у князя дело было вот какое: он просил наказать нескольких татарских мурз, самовольно учинивших набеги на его заднепровскую державу, которых, к слову сказать, он и сам основательно поколотил. Хан, как и ожидалось, ответил благоприятно – пообещал прислать в апреле особого посла, наказать ослушников, а надеясь заслужить себе благорасположение столь прославленного воителя, послал ему со Скшетуским кровного коня и соболий шлык. Пан Скшетуский, завершив с немалым почетом посольство, само по себе служившее доказательством великого от князя фавору, очень обрадовался, что ему дозволяется в Чигирине пожить и что с возвращением не торопят. Зато старый Зацвилюховский был куда как озабочен событиями, происходившими с некоторых пор в городе. Оба отправились к Допулу, валаху, державшему в городе корчму и погребок, и там, хотя время было еще раннее, застали без числа шляхты, так как день был базарный, да к тому же на день этот приходился скотопрогонный привал, ибо скот в лагерь коронных войск прогонялся через Чигирин; так что и народу понаехало множество. Шляхта, как всегда, собиралась на базарной площади в так называемом Звонецком Куте у Допула. Были тут и арендаторы Конецпольских, и чигиринские чиновники, и окрестные землевладельцы, сидящие на привилегиях; была шляхта оседлая, ни от кого не зависящая; еще – служащие экономии, кое-кто из казацкой верхушки и, наконец, разная шляхетская мелкота, или на чужих хлебах, или по своим хуторам проживающая.

Все они теснились по лавкам, стоявшим вдоль длинных дубовых столов, и шумно разговаривали, и всё о необычайном происшествии – взбудоражившем город побеге Хмельницкого. Скшетуский с Зацвилюховским сели сам-друг в уголку, и наместник стал расспрашивать, что за птица такая этот Хмельницкий, о котором столько разговоров.

– Неужто, сударь, не знаешь? – удивился старый солдат. – Это писарь запорожского войска, субботовский барин и... – добавил он тихо, – мой кум. Мы с ним давно знаем и во многих баталиях побывали, в каковых он себя изрядно показал, особенно под Цецорой. Солдата, столь в ратном деле искушенного, во всей Речи Посполитой, пожалуй, не найдешь. Вслух сейчас такого не скажи, но это гетманская голова – человек великой хватки и большого ума; казачество к нему больше, чем к кошевым и атаманам прислушивается. Он человек не без добрых свойств, однако заносчивый, неумный и, если ненависть им овладеет, страшен сделаться может.

– Зачем же он из Чигирина сбежал?

– Грызлись они со старостишкой Чаплинским, но это пустое! Как водится, шляхтич шляхтича со свету сживал. Не он первый, и не его первого. Еще говорят, что он с женкой старостишкиной путался; староста у него отбил любовницу и на ней женился, а он потом снова баламутил ее. И такое очень даже возможно; дело обыкновенное... бабенка бедовая. Но это только видимость, за которою кое-что поважнее скрывается. Тут, сударь, все обстоит вот как: в Черкассах живет полковник казацкий, престарелый Барабаш, друг нам. У него хранились при-

вилегии и какие-то королевские рескрипты, в которых казаков якобы сопротивляться шляхте склоняли. Но поскольку старик – человек разумный и дельный, он бумагам ходу не давал и обнародовать не спешил. И вот Хмельницкий, Барабаша на угощение сюда, в чигиринский дом свой, пригласив, послал людей на его хутор, чтобы сказанные грамоты да привилегии у жены его захватили, а потом с указами этими сбежал. Подумать страшно, что ими смута какая, вроде Остраницовой, воспользоваться может, ибо *repeto*<sup>6</sup>: человек он страшный, а исчез неведомо куда.

Скшетуский удивленно сказал:

– Ну лиса! Вокруг пальца меня обвел. Назвался казацким полковником князя Доминика Заславского. Я же его, нынешней ночью в степи встретив, из удавки вызволил!

Зацвилюховский даже за голову схватился.

– Господи, что ты говоришь, сударь? Такого быть не может!

– Очень даже может, раз было. Он назвался полковником князя Доминика Заславского и сказал, что в Кудак к пану Гродзицкому от великого гетмана послан. Правда, я этому не очень-то и поверил, потому что не водою он шел, а степью.

– Сей человек хитер, как Улисс! Но где же ты его встретил, сударь?

– У Омельника, на правом берегу Днепра. Надо думать, он на Сечь ехал.

– А Кудак решил миновать. Теперь *intelligo*<sup>7</sup>. Людей много было при нем?

– Человек сорок. Да только они поздно подъехали. Когда бы не мои, старостишкина челядь его бы удавила.

– Погоди, сударь, погоди. Это дело важное. Старостишкина челядь, говоришь?

– Ну да. По его словам.

– Откуда же тот знал, где искать, если в городе все голову ломают, куда Хмельницкий подевался?

– Этого я сказать не могу. А может, он солгал, выставив обыкновенных душегубов слугами старостишки, чтобы тем самым еще более обиды свои подчеркнуть?

– Такого быть не может. Однако дело весьма удивительное. А известно ли тебе, сударь, что имеются гетманские указы – Хмельницкого ловить и *in fundo*<sup>8</sup> задерживать?

Наместник не успел ответить, потому что в это мгновение, производя страшный шум, вошел какой-то шляхтич. Хлопнув дверьми и раз, и другой, он спесиво оглядел присутствующих и закричал:

– Всем привет, милостивые государи!

Был этот шляхтич лет сорока, ростом невысокий, с выражением лица запальчивым, чему много способствовали беспокойные и, точно сливы, сидевшие подо лбом глаза. Вошедший был, как видно, непоседлив, буен и скор до гнева.

– Всем привет, милостивые государи! – сразу не получив ответа, повторил шляхтич еще громче и резче.

– Привет, привет! – отозвались несколько голосов.

Это и был Чаплинский, чигиринский подстароста, доверенный слуга молодого пана хорунжего Конецпольского.

В Чигирине подстаросту не любили, поскольку был он первейшим забиякой, буяном и склочником; но, зная о благоволении к нему власть предержащих, кое-кто с человеком этим знался и водился.

---

<sup>6</sup> повторяю (*лат.*).

<sup>7</sup> понимаю (*лат.*).

<sup>8</sup> на месте (*лат.*).



Одного лишь Зацвилюховского, как, впрочем, и все остальные, он уважал ввиду добродетелей, основательности и храбрости последнего. Завидев старика, он тотчас подошел и, весьма высокомерно поклонившись Скшетускому, уселся со своим стаканом меда рядом с ними.

– Досточтимый староста, – спросил Зацвилюховский, – не слыхать ли чего о Хмельницком?

– Висит, досточтимый хорунжий, не будь я Чаплинский! А ежели до сей поры не висит, то будет висеть непременно. Теперь, когда есть гетманские указы, дай мне только заполучить его в руки!

Говоря это, он так хватил по столу, что из стаканов выплеснулось содержимое.

– Не проливай, сударь, вина! – сказал Скшетуский.

Зацвилюховский прервал наместника:

– А заполучишь ли ты его? Ведь он сбежал, а куда, никто не ведает.

– Никто не ведает? Я ведаю, не будь я Чаплинский! Ты, господин хорунжий, небось знаешь Хведьку. Так этот самый Хведько и ему служит, и мне. И будет он иудой Хмелю. Да чего там много говорить! Стал Хведько водиться с молодцами Хмельницкого. Человек пройдошливый! Все про него узнал! Взялся он доставить мне Хмельницкого живым или мертвым и выехал в степь загодя, зная, где его дожидаться!.. А, чертово семя!

Сказавши это, он снова ударил кулаком по столу.

– Не проливай, сударь, вина! – нажимая на каждое слово, повторил пан Скшетуский, с первого взгляда почувствовавший безотчетную антипатию к подстаросте.

Шляхтич побагровел, сверкнул выкаченными своими глазами, полагая, что ему дают повод, и вызывающе воззрился на Скшетуского, однако, увидев мундир Вишневецких, одумался, ибо, хотя у хорунжего Конецпольского в то время была с князем пря, Чигирин тем не менее находился недалеко от Лубен, и оскорблять княжеских людей было небезопасно. К тому же князь и людей подбирал таких, задирались с которыми следовало подумавши.

– Значит, Хведько взялся Хмельницкого тебе доставить? – снова стал спрашивать Зацвилюховский.

– Именно. И доставит, не будь я Чаплинский...

– А я твоей милости могу сказать: не доставит. Хмельницкий ловушки избежал и на Сечь подался, о чем еще сегодня следует известить краковского пана нашего. С Хмельницким лучше не шутить. Короче говоря, и умом он быстрее, и рука его потяжелее, и удачи у него поболее, чем у твоей, сударь, милости, ибо очень ты в ражходишь. Хмельницкий, повторяю, отбыл в безопасности, а если не веришь, тогда этот кавалер подтвердит, который его в степи вчера видел и, с целым и невредимым, с ним разъехался.

– Не может такого быть! Не может быть! – завизжал, дергая себя за чуб, Чаплинский.

– Более того, – продолжал Зацвилюховский, – кавалер, здесь присутствующий, сам же его и спас, а слуг твоей милости перебил, в чем, несмотря на гетманские указы, не виноват, так как из Крыма с посольством возвращается и про указы не знал; видя же человека, грабителями, как он решил, в степи обижаемого, поспешил ему на помощь. О сказанном спасении Хмельницкого заранее тебя, сударь, предупреждаю, так как он с запорожцами непременно тебя в экономии твоей навестит, и надо полагать, что ты этому не обрадуешься. Слишком уж ты с ним цапался. Тьфу, черти бы вас побрали!

Зацвилюховский тоже не любил Чаплинского.

Чаплинский вскочил и от ярости слова не мог сказать. Лицо его совсем побагровело, а глаза еще сильнее выпучились. Стоя в таком виде перед Скшетуским, он стал бессвязно выкрикивать:

– То есть как? Ты... невзирая на гетманские распоряжения!.. Я те, сударь... Я те, сударь...

А Скшетуский даже и со скамьи не привстал; опершись на локоть, он глядел на наскакивавшего Чаплинского, как сокол на привязанного воробья, и наконец спросил:

- С чего ты, сударь, ко мне прицепился, точно репей к собачьему хвосту?
- Да я тебя к ответу... Не слушаешься указа... Я вашу милость казаками!..

Подстароста так орал, что шум в погребке несколько утих. Люди стали поворачиваться к Чаплинскому. Он всегда искал ссоры, уж такая это была натура, и с каждым встречным скандалил; но сейчас всех удивило, что разошелся он при Зацвилюховском, которого одного и боялся, а задрался с жолнером, одетым в форму Вишневецких.

- Уймись, сударь, – сказал старый хорунжий. – Сей кавалер пришел со мною.

– Я те... те... тебя в суд... в колодки!.. – продолжал вопить Чаплинский, не обращая ни на что и ни на кого внимания.

Тут уже и пан Скшетуский тоже поднялся во весь свой рост, однако сабли из ножен не вытащил, а, подхватив ее, свисавшую с пояса на двух перевязях, посередке, поднял таким образом, что рукоять с маленьким крестиком подъехала к носу Чаплинского.

- А понюхай-ка это, сударь, – холодно сказал он.
- Бей, кто в Бога верует!.. Люди!.. – крикнул Чаплинский, хватаясь за эфес.

Но своей сабли выхватить не успел. Пан Скшетуский, повернув его на месте, одною рукою схватил за шиворот, другою – пониже спины за шаровары, поднял в воздух и, с рвущимся, точно кубарь, из рук, пошел с ним между скамей к дверям, возглашая:

- Панове-братья, дорогу рогоносцу! Забодает!

Сказавши это, он добрался до дверей, ударил в них Чаплинским, распахнул их таким манером и вышвырнул подстаросту вон.

Затем спокойно вернулся и сел на свое место рядом с Зацвилюховским.

В погребке во мгновение сделалось тихо. Сила, какую только что продемонстрировал Скшетуский, произвела на всю шляхту громадное впечатление. Спустя минуту всё вокруг сотрясалося от смеха.

- *Vivant*<sup>9</sup> вишневичане! – кричали одни.
- Сомлел, сомлел и в крови весь! – восклицали другие, выглядывавшие на улицу, любопытствуя узнать, что предпримет Чаплинский. – Слуги его поднимают!

Лишь немногие, те, кто считался сторонниками подстаросты, молчали и, не решаясь вступить за него, хмуро поглядывали на наместника.

- Только и скажешь, что в пяту гонит эта гончая! – промолвил Зацвилюховский.

– Да какая там гончая? Дворяня! – возгласил, приближаясь, тучный шляхтич с бельмом на глазу, имевший во лбу дырку величиной с талер, в которой посвечивала голая кость. – Дворяня он, не гончая! Позволь, сударь, – продолжал шляхтич, обращаясь к Скшетускому, – быть к твоим услугам. Имя мое – Ян Заглоба. Герб – Вчеле, в чем любой легко может убедиться хоть по этой вот дырке, какую в челе моем разбойная пуля проделала, когда я в Святую Землю за грехи молодости по обетованию ходил.

– Имей совесть, ваша милость! – сказал Зацвилюховский. – Ты же рассказывал, что тебе ее в Радоме кружкой пробили.

- Истинный бог, разбойная пуля! В Радоме другая история случилась.

– Давал ты, ваша милость, обет сходить в Святую Землю... оно возможно, но что тебя там не было – это наверняка.

– Да! Не было! Ибо в Галате уже страдания мученические принял! Пусть я не шляхтич, пусть я пес паршивый буду, если вру!

- Оно и брешешь, и брешешь.
- Последним прохвостом будучи, предаю себя в руки ваши, сударь наместник.

Тут и другие стали подходить знакомиться с паном Скшетуским и чувства ему свои выражать. Мало кто любил Чаплинского, и все были довольны, что тому такая конфузия приключилась.

---

<sup>9</sup> Да здравствуют (*лат.*).

чилась. Сейчас, не поразмыслив и не удивившись, невозможно поверить, что и вся окрестная чигиринская шляхта, и те, кто помельче – владельцы слобод, наемщики экономий, – чего там! – даже люди Конецпольских, – все, как оно по соседству бывает, зная о распрях Чаплинского с Хмельницким, были на стороне последнего, ибо Хмельницкий слыл знаменитым воином, немалые заслуги в разных баталиях снискавшим. Известно было также, что сам король поддерживал с ним отношения и высоко ценил его мнение. Случившееся же воспринимали как обычную свару шляхтича со шляхтичем, а подобные свары исчислялись тысячами, и особенно в землях русских. На сей раз, как всегда, приняли сторону того, кто умел завоевать себе больше симпатий, не загадывая, какие из этого могут проистечь страшные последствия. Лишь много позже сердца запылали ненавистью к Хмельницкому; причем одинаково сердца шляхты и духовенства обоих обрядов.

Итак, все подходили к Скшетускому с квартами, говоря: «Пей же, пане-брате! Выпей и со мною! Да здравствуют вишневичане! Такой молодой, а уже в поручиках у князя. *Vivat*<sup>10</sup> князь Иеремия, всем гетманам гетман! Куда угодно пойдем с князем Иеремией! На турок и татар! В Стамбул! Да здравствует милостиво царствующий над нами Владислав Четвертый!» Громче всех кричал пан Заглоба, готовый даже в одиночку перепить и перекричать целый regiment.

– Досточтимые господа! – вопил он, так что стекла в окошках звенели. – Уж я на его милость султана подал в суд за насилие, до которого он допустил произойти со мною в Галате.

– Не городи ты, ваша милость, чушь всякую, язык пожалей!

– То есть как, досточтимые господа? *Quatuor articuli iudicii castrensis: stuprum, incendium, latrocinium et vis armata alienis aedibus illata*<sup>11</sup>. А разве же не было это *vis armata*?<sup>12</sup>

– Чистый глухарь ты, сударь.

– А я и в трибунал его!

– Уймись же, ваша ми...

– И кондеманту получу, и подлецом его оглашу; вот тебе и война, но уже с приговоренным к бесчестию.

– Здоровье ваших милостей!

Некоторые, однако, смеялись, а с ними и пан Скшетуский – ему уже малость ударило в голову; шляхтич же и в самом деле, точно глухарь, который собственным голосом упивается, не умолкая, токовал далее. К счастью, тирады его были прерваны другим шляхтичем, который, приблизившись, дернул болтуна за рукав и сказал с певчим литовским выговором:

– Так познакомь же, сударь добрый Заглоба, и меня с паном наместником... Познакомь же!

– Обязательно! Непременно! Позволь, ваша милость наместник, – это господин Сбейнабойка.

– Подбипятка, – поправил шляхтич.

– Один черт! Герба Сорвиштанец.

– Сорвиглавец, – поправил шляхтич.

– Один черт! Из Пёсикишек.

– Из Мышкишек, – поправил шляхтич.

– Один черт. *Nescio*<sup>13</sup>, что бы я предпочел. Мышьи кишки или песьи. Но жить – это уж точно! – ни в каких не желаю, ибо и отсидеться там трудновато, и покидать их конфузно. Ваша милость! – продолжал он объяснять Скшетускому, указывая на литвина, – вот уже неделю пью я на деньги этого шляхтича, у какового за поясом меч столь же тяжеловесный, сколь и кошель,

<sup>10</sup> Да здравствует (*лат.*).

<sup>11</sup> Четыре статьи полевого суда: изнасилование, поджог, разбой и нападение вооруженной силой на чужой дом (*лат.*).

<sup>12</sup> вооруженной силой (*лат.*).

<sup>13</sup> Не знаю (*лат.*).

а кошель столь же тяжеловесный, сколь и разум, но если поил меня когда-нибудь большой чудак, пусть я буду таким же болваном, как тот, кто за меня платит.

– Ну, объехал его! – смеясь, кричала шляхта.

Однако литвин не сердился, он только отмахивался, тихо улыбался и повторял:

– От, будет уж вам, ваша милость... с л у х а т ь гадко!

Скшетуский с интересом приглядывался к новому знакомцу, и в самом деле заслуживавшему называться чудачком. Это был мужчина росту столь высокого, что головою почти касался потолочных бревен; небывалая же худоба делала его и вовсе долговязым. Хотя весь он был кожа да кости, широкие плечи и жилистая шея свидетельствовали о необычайной силе. На удивление впалый живот наводил на мысль, что человек этот приехал из голодного края, однако одет он был изрядно – в серую свебодзинского сукна, ладно сидевшую куртку с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, начинавшие на Литве входить в употребление. Широкий и туго набитый лосевый пояс, не имея на чем держаться, сползал на самые бедра, а к поясу был привязан крыжацкий меч, такой длинный, что мужу тому громадному почти до подмышек достигал.

Но испугайся кто меча, тот бы сразу успокоился, взглянув на лицо его владельца. Оно, будучи, как и весь облик этого человека, тощим, украшалось двумя обвисшими бровями и парюю таково же обвислых льняного цвета усищ; однако при этом было столь открыто, столь искренно, словно лицо ребенка. Помянутая обвислость усов и бровей сообщала литвину вид одновременно озабоченный, печальный и потешный. Он казался человеком, которым все помыкают, но Скшетускому понравился с первого взгляда за эту самую открытость лица и ладную воинскую экипировку.

– Пане наместник, – сказал тощий шляхтич, – значит, ваша милость от господина князя Вишневецкого?

– Точно.

Литвин благоговейно сложил руки и возвел очи горе.

– Ах, что за воитель это великий! Что за рыцарь! Что за вождь!

– Дай Боже Речи Посполитой таких побольше.

– Истинно, истинно! А не можно ли под его знамена?

Тут в разговор ввязался Заглоба:

– И займет князь два вертела для кухни: один из этого сударя, другой из его меча; а может, наймет вашу милость заплочных дел мастером или повелит на вашей милости разбойников вешать. Нет! Скорее всего он сукно мундирное станет мерить! Тьфу! Ну как тебе, сударь, не совестно, будучи человеком и католиком, ходить длинным, словно *serpens*<sup>14</sup> или басурманская пика!

– С л у х а т ь гадко, – терпеливо сказал литвин.

– Как же, сударь, величать вас? – спросил Скшетуский. – Когда вы представились, пан Заглоба так вашу милость подъядал, что я, прошу прощения, ничего не смог разобрать.

– Подбипятка.

– Сбейнабойка.

– Сорвиглавец из Мышкишек.

– Чистая умора! Хоть он мне и вино ставит, но если это не языческие имена, значит, я распоследний дурень.

– Давно ваша милость из Литвы?

– Вот уж две недели, как я в Чигирине. А узнавши от пана Зацвилюховского, что ты, сударь, тут проезжать будешь, дожидаюсь, чтобы с твоею протекцией князю просьбу свою представить.

---

<sup>14</sup> змея (лат.).

– Но скажи, ваша милость, потому что очень уж мне любопытно, зачем ты этот меч палаческий под мышкой носишь?

– Не палаческий он, сударь наместник, а крыжацкий; а ношу его – ибо трофей и родовая реликвия. Еще под Хойницами служил он в руке литовской – вот и ношу.

– Однако махина нешуточная и тяжела, должно быть, страшно. Разве что оберучь?

– Можно и оберучь, а можно и одною.

– Позволь глянуть!

Литвин вытащил меч и подал Скшетускому, однако у того сразу же повисла от тяжести рука. Ни изготовиться, ни взмахнуть свободно. Двумя еще куда ни шло, но тоже оказалось тяжеловато. Посему пан Скшетуский несколько смешался и обратился к присутствующим:

– Ну, милостивые государи! Кто перекрестится?

– Мы уже пробовали, – ответило несколько голосов. – Одному пану комиссару Зацвилюховскому в подъем, но и он крестное знамение не положит.

– А сам ты, ваша милость? – спросил пан Скшетуский, оборотившись к литвину.

Шляхтич, точно тростинку, поднял меч и раз пятнадцать взмахнул им с величайшей легкостью, аж в корчме воздух зафырчал и ветер прошел по лицам.

– Помогай тебе Бог! – воскликнул Скшетуский. – Всенепременно получишь службу у князя!

– Господь свидетель, что я желаю ее, а меч мой на ней не заржавеет.

– Зато мозги окончательно, – сказал пан Заглоба. – Ибо не умеешь, сударь, таково же и мозгами ворочать.

Зацвилюховский встал, и они с наместником собрались было уходить, как вдруг вошел белый, точно голубь, человек и, увидев Зацвилюховского, сказал:

– Ваша милость хорунжий, а у меня как раз к тебе дело!

Это и был Барабаш, черкасский полковник.

– Пошли тогда на мою квартиру, – ответил Зацвилюховский. – Здесь уже таковой шум, что и слова не расслышишь.

Оба вышли, а с ними и пан Скшетуский. Сразу же за порогом Барабаш спросил:

– Есть известия о Хмельницком?

– Есть. Сбежал на Сечь. Этот офицер видал его вчера в степи.

– Значит, не водою поехал? А я гонца в Кудак вчера отправил, чтобы перехватили, и, выходит, зря.

Сказавши это, Барабаш закрыл ладонями лицо и принялся повторять:

– Э й, с п а с и Х р и с т е! С п а с и Х р и с т е!

– Чего ты, сударь, печалишься?

– А знаешь ли ты, что он у меня коварством вырвал? Знаешь, что значит таковые грамоты на Сечи обнародовать? С п а с и Х р и с т е! Если король войны с басурманами не начнет, это же искра в порох...

– Смуту, ваша милость, пророчишь?

– Не пророчу, но вижу ее. А Хмельницкий пострашнее Наливайки и Лободы.

– Да кто же за ним пойдет?

– Кто? Запорожье, реестровые, мещане, чернь, хуторяне и вон – эти!

Полковник Барабаш указал рукою на майдан и снующий там народ. Вся площадь была забита могучими сивыми волами, которых перегоняли в Корсунь для войска, а при волах состоял многочисленный пастуший люд, так называемые чабаны, всю свою жизнь проводившие в степях и пустынях, – люди совершенно дикие и не исповедовавшие никакой религии; religionis nullius, как говаривал воевода Кисель. Меж них бросались в глаза фигуры, скорее похожие на душегубов, нежели на пастухов, звероподобные, страшные, в лохмотьях всевозможного платья. Большинство было облачено в бараньи тулупы или в невыделанные шкуры

мехом наружу, распахнутые и обнажавшие, хоть пора была и зимняя, голую грудь, обветренную степовыми ветрами. Каждый был вооружен, но самым невероятным оружием: у одних имелись луки и сайдаки, у других – самопалы, по-казацки именуемые «пищали», у третьих – татарские сабли, а у некоторых косы или просто палки с привязанной на конце лошадиной челюстью. Тут же сновали не менее дикие, хотя лучше вооруженные низовые, везущие на продажу в лагерь сушеную рыбу, дичину и баранье сало; еще были чумаки с солью, степные и лесные пасечники да воскобои с медом, боровые поселенцы со смолой и дегтем; еще – крестьяне с подводами, реестровые казаки, белгородские татары и один бог знает кто еще, какие-то побродяги – с і р о м а х и с края света. По всему городу полно было пьяных; на Чигирин как раз приходилась ночевка, а значит, и гульба. По всей площади раскладывали костры, там и тут пылали бочки со смолой. Отовсюду доносились гомон и вопли. Пронзительные голоса татарских дудок и бубнов мешались с ревом скота и с тихогласным звучанием лир, под звон которых слепцы пели любимую тогда песню:

Соколе ясний,  
Брате мій рідний,  
Ти високо літаєш,  
Ти далеко видаєш.

Одновременно с этим раздавалось «ух-ха! ух-ха!» – дикие выкрики перемазанных в дегте и совершенно хмельных казаков, пляшущих на майдане трепака. Все вместе выглядело жутко и неукротимо. Зацвилюховскому достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в правоте Барабаша – любой повод мог разбудить эти неудержимые стихии, скорые до грабежа и привычные к стычкам, без счета случавшимся по всей Украине. А за толпами этими была еще Сечь, было Запорожье, пусть с некоторых пор смиренное и после Маслова озера обузданное, но в нетерпении грызущее удила, не забывшее давних привилегий, ненавидящее комиссаров и являвшее собой сплоченную силу. На стороне этой силы были симпатии несчислимого крестьянства, менее терпеливого, чем в других областях Речи Посполитой, поскольку под боком у него был Чертомлык, а на Чертомлыке – безвластие, разбой и воля. Так что пан хорунжий, хотя сам был русином и преданным восточного обряда сторонником, печально задумался.

Человек старый, он хорошо помнил времена Наливайки, Лободы, Кремпского; украинскую вольницу знал на Руси лучше любого другого, а зная еще и Хмельницкого, понимал, что тот стоит двадцати Лобод и Наливаек. Поэтому понял он и всю опасность его на Сечь побега, особенно же с королевскими грамотами, про которые Барабаш рассказывал, что в них содержатся различные посулы казакам и призыв к сопротивлению.

– Господин черкасский полковник! – сказал он Барабашу. – Тебе бы, сударь, следовало на Сечь ехать, влиянию Хмельницкого противустать и умиротворять, умиротворять!

– Сударь хорунжий! – ответил Барабаш. – Я вашей милости сообщу вот что: всего лишь узнав о побеге Хмельницкого с грамотами, половина моих черкасских людей нынешней ночью на Сечь сбежала. Мое время прошло. Мне – могила, не булава!

И действительно, Барабаш был солдат бывалый, но человек старый и влияния не имевший.

За разговором дошли до квартиры Зацвилюховского. Старый хорунжий обрел меж тем в мыслях спокойствие, свойственное его голубиной душе, и, когда все уселись за штофом меда, сказал веселее:

– Все это безделица, ежели война, как поговаривают, с басурманом *graeparatur*<sup>15</sup>, а так оно вроде бы и есть; ибо, хотя Речь Посполитая войны не желает и немало уже сеймы королю

<sup>15</sup> подготавливается (лат.).



крови попортили, король, однако, на своем настоять может. Так что весь этот пыл можно будет повернуть на турка, и – в любом случае – у нас есть время. Я сам поеду изложить дело к краковскому пану нашему и буду просить, чтобы возможно ближе подтянулся к нам с войском. Добьюсь ли чего, не знаю, ибо хотя он повелитель доблестный, а воин опытный, но слишком уж полагается и на свое мнение, и на свое войско. Ты, ваша милость господин черкасский полковник, держи казаков в руках, а ты, ваша милость господин наместник, как прибудешь в Лубны, проси князя, чтобы с Сечи глаз не спускал. Пусть бы там и замыслили что заварить – *pereto*: у нас есть время. На Сечи народу сейчас мало: за рыбой и за зверем все поразбрелись либо по всей Украине в селах сидят. Пока соберутся, много в Днепре воды утечет. Да и княжеское имя страх наводит; а как узнают, что он на Чертомлык поглядывает, может, и будут сидеть тихо.

– Я из Чигирина могу хоть через два дня отправиться, – сказал наместник.

– Вот и хорошо. Два-три дня потерпеть можно. Ты, ваша милость правитель черкасский, пошли гонцов с изложением дела еще и к коронному хорунжему, и ко князю Доминику. Да ты, сударь, уж и заснул, я гляжу!

В самом деле – Барабаш, сложив на животе руки, сладко спал, а спустя некоторое время и похрапывать начал. Старый полковник если не ел и не пил, а оба этих занятия он предпочитал всему остальному, – спал.

– Погляди, сударь мой, – тихо сказал Зацвилюховский наместнику. – И с помощью этого старца варшавские сановники рассчитывают казаков в руках держать. Бог с ними. Они и самому Хмельницкому тоже доверяли; канцлер даже с ним переговоры какие-то вел, а он, похоже, доверие коварством оплатит.

Наместник вздохнул в знак сочувствия старому хорунжему. Барабаш же, громко всхрапнув, пробормотал сквозь сон:

– С п а с и Х р и с т е! С п а с и Х р и с т е!

– Когда же ты, сударь, собираешься из Чигирина отбыть? – спросил хорунжий.

– Мне бы следовало дня два Чаплинского подождать. Он, верно, за понесенную конфузию удовлетворение получить захочет.

– Это уж нет. Скорее он людей своих, не ходи ты в княжеской форме, на тебя наслал бы, но с князем задираться даже для слуги Конецпольских – дело рискованное.

– Я его извещу, что жду, а дня через два-три двинусь. Засады я не боюсь, при себе – саблю, а с собою людей имею.

Сказав это, наместник простился со старым хорунжим и ушел.

Над городом от костров, разложенных на майдане, стояло такое ясное зарево, что можно было подумать – целый Чигирин горит; гомон же и крики с наступлением ночи еще более усилились. Евреи, те из своих жилищ даже высунуться не смели. В одном конце площади толпы чабанов завывали степные тоскливые песни. Дикие запорожцы плясали у костров, подкидывая вверх шапки, паля из пищалей и четвертями поглощая горелку. То там, то тут затевались потасовки, умиряемые людьми подстаросты. Наместник вынужден был расчищать дорогу рукоятью сабли, а несмолкаемые казацкие вопли и гам в какое-то мгновение показались ему уже голосом бунта. Казалось ему также, что видит он грозные взгляды и слышит тихую, обращенную к нему брань. В ушах наместника еще звучали слова Барабаша: «С п а с и Х р и с т е! С п а с и Х р и с т е!», и сердце в груди стучало сильнее.

В городе между тем чабанские хоры заходились все громче, а запорожцы стреляли из самопалов и наливались горелкой.

Пальба и дикое «ух-ха! ух-ха!» доносились до наместниковых ушей даже и тогда, когда на своей квартире он расположился уже спать.

### Глава III

Спустя несколько дней отряд нашего наместника быстро передвигался в сторону Лубен. Переправившись через Днепр, пошли широкою степною дорогой, соединявшей Чигирин через Жуки, Семи-Могилы и Хорол с Лубнами. Такой же тракт вел из княжеской столицы в Киев. В прежние времена, до расправы гетмана Жолкевского у Солоницы, дорог этих не существовало вовсе. В Киев из Лубен ездили степью и пущей, в Чигирин был путь водный, а обратно – через Хорол. Вообще же приднепровский этот край – старая половецкая земля – совершенно пустынный, татарами часто навещаемый, казакам доступный, заселен был разве что до Дикого Поля.

Вдоль Сулы шумели громадные нехоженные и неброженные леса: местами по низкому берегу ее и по низким поймам Рудой, Слепорода, Коровая, Иржавца, Псла, а также прочих речек, речонков и притоков образовывались топкие пространства, поросшие или непроходимым кустарником и лесом, или травой – в виде открытых луговин. В дебрях тех и трясины находил надежное убежище разный зверь; в дремучих лесных потемках обитало несметное множество бородатых туров, диких свиней и медведей, с ними соседствовала несчислимая серая братия волков, рысей, куниц, стада серн и красный зверь сайгак; в болотах и речных рукавах бобры устраивали свои гоны, а про бобров на Запорожье рассказывали, что меж них попадаются столетние старцы, белые от старости, как снег.

По высоким сухим степям носились дикие табуны буйногривых и кровавооких коней. Реки кишели рыбою и водоплавающей птицей.

Удивительная была эта земля: полууснувшая, но сохранившая на себе следы давнего человеческого пребывания – повсюду во множестве попадались останки каких-то древних сельбищ, да и Лубны с Хоролом были на подобных пепелищах поставлены; повсюду не счесть курганов, и не столь давно насыпанных, и стародавних, поросших уже лесом. Здесь тоже, как и на Диком Поле, являлись по ночам духи и призраки, а у костров старые запорожцы рассказывали друг другу небывальщины про то, что время от времени совершается в лесных чащобах, откуда доносился вой неведомых тварей, получеловеческие, полужверинные крики и грозный шум не то побоищ, не то ловитв. Под водою гудели колокола ушедших на дно городов. Земля была негостеприимная и недоступная; тут, глядишь, слишком сырая, тут – почти безводная, выжженная, сухая и для жизни опасная; насельников к тому же – стоило им сколько-нибудь обжиться и обзавестись хозяйством – разоряли татарские набеги. Обычно заглядывали сюда только запорожцы ради бобровых хвостов или зверя и рыбы, ибо в мирное время большая часть низовых разбредалась из Сечи по всем рекам, ярам, лесам и зарослям на охоту или, как называли это, «на промысел», рыская в местах, о существовании которых мало кому было известно.

Однако же и оседлая жизнь пыталась укорениться на землях этих, – так растение, которое, где может, пытается вцепиться корешками в почву и, вырываемое то и дело, где может, продолжает расти.

На пустошах возникали острожки, поселения, колонии и хутора. Земля была местами плодородная, да и воля привлекала. Но лишь тогда закипела жизнь, когда край этот перешел во владение князей Вишневецких. Князь Михаил, женившись на Могилянке, усерднее принялся обживать свой заднепровский удел; привлекал людей, заселял пустоши, позволял до тридцати лет не платить податей, строил обители и вводил свое княжеское право. Даже поселенец, невесть когда пришедший на эти земли и полагавший, что хозяйствует на собственном наделе, охотно превращался в княжеского оброчника, так как за подать свою обретал могучее княжеское попечение, защищавшее его от татар и от худших порой, чем татары, низовых.

И все же настоящая жизнь процвела лишь под железной рукой молодого князя Иеремии. Начиналось его государство сразу же за Чигирином, а кончалось – гей! – у самого у Конотопа

и Ромен. Но не одно оно составляло княжеские богатства, ибо, начиная от воеводства Сандомирского, князь владел землею в воеводствах Волынском, Русском и Киевском; однако же приднепровская вотчина была всего любезнее путивльскому победителю.

Татарин долго выжидал у Орла, у Ворсклы, принохиваясь, точно волк, прежде чем осмеливался погнать коня на север; низовые ссоры не искали, местные лихие ватаги вступили на княжескую службу. Дикий и разбойный люд, искони промышлявший насилием и грабежом, оказавшись в узде, занимал теперь порубежные «паланки» и, залегши по границам края, как сторожевой пес, показывал врагам зубы.

И все расцвело, и закипела жизнь. По следам древних шляхов были проложены дороги; реки укротились плотинами, насыпанными невольником-татарином или низовым казаком, схваченным на разбойном деле. Там, где когда-то ветер дико играл по ночам в зарослях камыша да были волки и утопленники, теперь погромыхивали мельницы. Более четырехсот водяных, не считая всюду, где можно, поставленных ветряков, смалывали хлеб в одном только Заднепровье. Сорок тысяч оброчных вносили оброк в княжескую казну, в лесах появились пасеки, по рубежам возникали все новые деревни, хутора, слободы. В степях бок о бок с дикими табунами паслись огромные стада домашнего скота и лошадей. Неоглядный однообразный вид степей и лесов оживился дымами хат, золотыми верхами церквей и костелов — пустыня превратилась в край, вполне заселенный.

Так что пан наместник Скшетуский, имея по пути надежные привалы, весело и не спеша словно бы по своей земле ехал. Только что начался январь сорок восьмого года, но странная, редкостная зима совершенно ничем себя не обнаруживала. В воздухе пахло весной, земля светилась лужами талой воды, поля покрыты были зелеными, а солнце в полдни припекало так, что по дороге кожухи парили спину точно летом.

Отряд наместника численно умножился, ибо в Чигирине присоединилось к нему валашское посольство, каковое в лице господина Розвана Урсу господарь направлял в Лубны. Посольство сопровождал эскорт — более десятка каралашей и челядь на телегах. Еще ехал с наместником уже знакомый нам пан Лонгинус Подбиытка герба Сорвиглавец, на боку имевший долгий свой меч, а для услужения — несколько человек дворни.

Солнце, превосходная погода и запахи близкой весны наполняли сердца радостью; наместник же пребывал в хорошем расположении духа еще и потому, что возвращался из долгого путешествия под княжеский кров, бывший и его кровом, возвращался, успешно справившись с делом, а значит, и уверенный в ласковом приеме.

Но для радости были у него и другие причины.

Кроме милости князя, которого наместник любил всею душой, ждали его в Лубнах некие сладостные как мед очи.

Принадлежали очи Анусе Борзобогатой-Красенской, придворной девице княгини Гризельды, самой прелестной девушке во всем фрауциммере, невозможной кокетке, по которой в Лубнах сохли все, а она ни по кому. У княгини Гризельды строгости были ужасные, а требования к благонравию неслыханные, но это, однако, не мешало молодежи обмениваться пылкими взглядами и вздыхать. Вот и пан Скшетуский, как и прочие, посылал вздохи этим черным очам, а когда случалось оставаться одному на своей квартире, брался за лютню и напевал:

Ты всем прочим яствам яство...

или же:

Ты жесточе, чем орда,

Corda<sup>16</sup> полонишь всегда!

Будучи, однако, человеком неунывающим, да при том еще и солдатом, дело свое очень любившим, он не принимал слишком близко к сердцу, что Ануся дарит улыбки свои, кроме него, и пану Быховцу из валашской хоругви, и пану Вурцелю, артиллеристу, и пану Володыёвскому, драгуну, и даже пану Барановскому из гусар, хотя последний был весьма седоват и, по причине разбитого самопальной пулею нёба, шепелявил. Наш наместник уже дрался как-то на саблях с паном Володыёвским из-за Ануси, однако если случалось подолгу засиживаться в Лубнах и не ходить на татар, то и с Анусею рядом он скучал, а когда приходилось выступать, то выступал охотно, без сожалений и печали сердечной.

Зато и возвращался он всегда с радостью. Вот и теперь, следуя после удачного завершения дел из Крыма, он весело напевал и горячил коня, едучи рядом с паном Лонгинусом, трусившим на огромной лифляндской кобыле, как всегда в унынии и печали. Посольские телеги, каралаши и эскорт остались далеко позади.

– Его милость посол лежит на возу, как колода, и все время спит, – заговорил наместник. – Чудес мне порассказал про свою Валахию, оттого и утомился! Я же слушал не без любопытства. Ничего не скажешь! Страна богатая, климат отменный, золота, вина, сластей и скотины довольно. Я вот и подумал, что князь наш, от Могилянки рожденный, имеет столько же прав на господарский трон, как иные прочие; а прав тех князь Михаил, кстати сказать, добивался. Не в новость нашим воеводам валашская земля. Били они там уже и турок, и татар, и самих валахов, и семиградских...

– Однако люди из тех краев помягче наших будут, о чем мне и пан Заглоба в Чигирине рассказывал, – ответил литвин. – А не поверь я ему, так в книжках богослужебных опять же тому подтверждение имеется.

– В богослужебных?

– У меня есть такая, и могу вашей милости показать; я с нею не расстаюсь.

Тут расстегнул он тороку у луки и, доставши маленькую, тщательно переплетенную в телячью кожу книжицу, сперва благоговейно поцеловал ее, а потом, перелистав с полтора десятка страниц, сказал:

– Читай, сударь.

Пан Скшетуский начал:

– «К защите твоей прибегаем, Пресвятая Богородица...» Где же тут стоит про валахов? Что ты, сударь, говоришь? Это же антифон!

– Читай, ваша милость, читай.

– «Дабы достойны мы были обетований Христовых. Аминь».

– Ну а далее вопрос...

Скшетуский прочитал:

– «Вопрос: Отчего кавалерия валашская зовется легкой? Ответ: Оттого что легко удирает. Аминь». Гм! Верно! Однако в книжице твоей странное весьма материй смешение.

– Потому что это книжка солдатская: так что к молитвам разные *instructiones militares*<sup>17</sup> прилагаются, из которых узнаешь, ваша милость, про все нации, какая из них достойнейшая, какая подлая; касательно же валахов оказывается, что трусливые из них ребята, да к тому еще и вероломцы великие.

– Что вероломцы – точно. Оно видно даже по неприятностям князя Михаила. Честно говоря, я тоже слышал, что солдат из ихних неособенный. А все-таки у его милости князя

---

<sup>16</sup> Сердца (лат.).

<sup>17</sup> воинские наставления (лат.).

валашская хоругвь, где в поручиках пан Быховец, очень хороша, но *stricte*<sup>18</sup>, честно говоря, не знаю, найдется ли в той хоругви два десятка валахов.

– А как ты, ваша милость, полагаешь, много вооруженных людей у князя?

– Тысяч восемь, не считая казаков на стоянках. Однако Зацвилюховский говорил, что сейчас новые наборы производятся.

– Значит, даст Бог, какой-нибудь поход под началом господина князя будет?

– Поговаривают, что большая война с турчином готовится, сам король со всею ратью Речи Посполитой выступить намерен. Известно мне также, что подарки татарам прекращены, а татары о набегах и думать забыли со страху. Про то я и в Крыму слыхал, где поэтотому, вероятно, принимали меня таково *honeste*<sup>19</sup>, ибо есть еще слух, что, когда король с гетманами двинется, князь должен ударить на Крым и татар разбить окончательно. Похоже, так оно и будет – на кого еще такое возложить можно?

Пан Лонгинус вознес к небу руки и очи.

– Пошли же, Господи милосердный, пошли же таковую священную войну во славу христианства и народа нашего, а мне, грешному, дай в ней обеты мои свершить, чтобы *in luctu*<sup>20</sup> мог я быть утешен или славную смерть нашел!

– Ты, сударь, обет насчет войны дал?

– Такому достойному кавалеру все тайны души открою, хотя и долго рассказывать; но раз ты, ваша милость, ухом благосклонным внимаешь, тогда *incipiam*<sup>21</sup>. Тебе, сударь, уже известно, что герб мой зовется Сорвиглавец, и потому это, что под Грюнвальдом предок мой Стowejко Подбипытка трех рыцарей, скакавших бок о бок в монашских куколях, подобравшись сзади, одним махом обезглавил, о каковом славном подвиге старинные летописи сообщают с великой для предка моего хвалою...

– Не слабее, видать, рука предка твоей руки, так что прозвали Сорвиглавцем его справедливо.

– Ему король и герб пожаловал, а в гербе три козьих головы на серебряном поле в память о трех рыцарях, потому что такие же головы на их щитах были изображены. Герб и этот вот меч предок Стowejко Подбипытка передал потомкам своим, наказав продолжать славу и рода и меча.

– Ничего не скажешь, достойное родословие!

Пан же Лонгинус принялся печально вздыхать, а когда ему наконец малость полегчало, признания свои продолжил:

– Будучи, значит, в роду нашем последний, дал я в Троках обет Пресвятой Деве пребывать в целомудрии и не пойти к венцу, прежде чем, по славному примеру Стowejка Подбипытки, предка моего, трех голов тем же мечом с одного маху не отсеку. Добрый Господи, ты знаешь, что я сделал все, от меня зависящее! Целомудрие сохранил по сей день, сердцу нежному приказал молчать, брани искал, да только счастье вот меня обходит...

Поручик усмехнулся в усы.

– И не отсек, ваша милость, три головы?

– От! Не случилось! Везенья нету! По две еще приходилось, но три – никогда. Никак не выходит сзади подъехать, а неприятеля не попросишь, чтобы рядком под замах строился. Один Бог и знает мои удрученья: сила в руках-ногах есть, имение предостаточное... Но *adolescencia*<sup>22</sup> уходит, скоро сорок пять лет исполнится, сердце любви требует, род угасает, а трех голов как

---

<sup>18</sup> точно (*лат.*).

<sup>19</sup> с почетом (*лат.*).

<sup>20</sup> в скорби (*лат.*).

<sup>21</sup> я начну (*лат.*).

<sup>22</sup> младость (*лат.*).

не было, так и нету!.. Вот какой Сорвиглавец из меня. Посмешище людям, как справедливо говорит пан Заглоба, что я смиренно и сношу, Господу Иисусу к подножию полагая.

Литвин снова так завздыхал, что лифляндская его кобыла, по всей вероятности, из сочувствия к своему хозяину, принялась кряхтеть и жалобно посапывать.

– Одно я могу сказать вашей милости, – молвил наместник, – что, ежели под знаменами князя Иеремии оказии не подвернется, то, значит, не подвернется никогда.

– Дай-то Боже! – ответил пан Лонгинус. – Потому и еду просить службы у князя-воеводы.

Дальнейший их разговор был прерван внезапным шумом птичьих крыльев. Как уже было сказано, в зиму ту пернатые за моря не улетели, реки не замерзли, оттого повсюду над болотами было особенно много речной птицы. Поручик с паном Лонгином как раз подъезжали к берегу Кагамлыка, когда над головами их прошумела вдруг целая журавлиная стая, летевшая так низко, что можно было палкой докинуть. Стая неслась с отчаянными кликами и, вместо того чтобы опуститься в камыши, неожиданно взмыла вверх.

– Похоже, за ними кто-то гонится, – заметил Скшетуский.

– А вон, ваша милость, гляди! – воскликнул пан Лонгинус, указывая белую птицу, которая, разрезая косым полетом воздух, явно намеревалась приблизиться к стае.

– Кречет! Кречет! Запасть им не дает! – закричал наместник. – У посла кречеты есть, он и пустил, наверно!

В ту же минуту на вороном анатолийском жеребце галопом подскакал господин Розван Урсу, а за ним несколько служилых каралашей.

– Пане поручик, пожалуйста на забаву, – сказал он.

– Твой кречет, ваша милость?

– Мой, и преотменный! Сейчас, сударь, увидишь...

Они втроем пустились вперед, а за ними с обручем валах-сокольничий, старавшийся не потерять птиц из виду и что было сил кричавший, раззадоривая кречета к бою.

Умная птица вынудила между тем стаю подняться вверх, сама молниеносно взмыла еще выше и повисла над ней. Журавли сбились в единое огромное коловращение, точно буря шумевшее крылами. Истошные крики наполнили воздух. Птицы, ожидая атаки, вытянули шеи и пиками повыставили вверх клювы.

Кречет пока что кружил над ними. Он то снижался, то поднимался, словно бы не решаясь кинуться туда, где грудь его ожидало множество острых клювов. Белые его перья, освещенные солнцем, сверкали в погожей небесной голубизне, точно само солнце.

Вдруг, вместо того чтобы упасть на стаю, он стрелой умчался вдаль и вскоре пропал за купами деревьев и тростника.

Первым вслед рванулся с места Скшетуский. Посол, сокольничий и пан Лонгинус последовали его примеру.

Однако на повороте дороги наместник коня придержал, потому что увидел новое и странное зрелище. Посреди тракта лежала на боку колымага со сломанной осью. Выпряженных коней держали два казачка. Возницы не было – он, как видно, отправился искать помощи. У колымаги стояли две барыни; одна со строгим мужеподобным лицом, одетая в лисий тулуп и такую же шапку с круглым донцем, вторая – молодая высокая девушка с тонкими и очень соразмерными чертами. На плече этой молодой особы преспокойно сидел кречет и, встопорщив на груди перья, разглаживал их клювом.

Наместник осадил коня, так что копыта врылись в песок дороги, и потянулся к шапке, не зная, как быть: здороваться или кречета потребовать? Растерялся он еще и оттого, что из-под куньей шапочки глянули на него такие очи, каких, сколько жив, он не видывал: черные, бархатные, печальные, и такие переменчивые, такие жгучие, что глазки Ануси Борзобогатой при них померкли бы, как свечи при факелах. Над очами теми изгибались двумя мягкими дугами шелковые темные брови; румяные щеки цвели, точно цветки прелестнейшие, меж слегка при-



открытых малиновых губок сверкали жемчугами зубки, а из-под шапочки струились роскошные черные косы. «Уж не Юнона ли то собственной персоной или другое какое божество?» – подумал наместник, созерцая стройный этот стан, округлые перси и белого сокола на плече. И стоял наш поручик без шапки, и уставился, точно на картину писаную, и только глаза его пылали, а сердце словно бы стискивала рука чья. И собирался он было начать речь словами: «Ежели ты смертное создание, а не божество...» – но тут подсказали посол с паном Лонгинусом, а с ними и сокольник с обручем. Тогда богиня подставила кречету руку, на которой тот, спустившись с плеча, преспокойно устроился, переступая с лапы на лапу. Наместник, опережая сокольника, хотел снять птицу, но вдруг случился удивительный казус. Кречет, оставив одну лапу на руке девушки, другою вцепился в руку наместника и, вместо того чтобы на нее перебраться, стал радостно пищать и так сильно притягивать руки одну к другой, что те соприкоснулись. Мурашки пробежали по спине наместника, а кречет тогда лишь дался пересадить себя на обруч, когда сокольник надел на голову ему кlobучок. Между тем пожилая барыня взволнованно заговорила:

– Рыцарь, кем бы вы ни были, не откажите в помощи дамам, оказавшимся в затруднительном положении на дороге и не знающим, что предпринять. До дому осталось мили три, но в колыхаге полопались оси, и нам, похоже, придется ночевать в поле; возницу я послала к сыновьям, чтобы хоть телегу сюда прислали, но пока возница доедет и вернется, сделается темно, а в урочище этом оставаться страшно, потому что тут могилы поблизости.

Старая шляхтянка говорила быстро и голосом таким низким, что наместник даже удивился. Тем не менее он учтиво ответил:

– Не допускай же, сударыня, таковой мысли, что мы тебя с пригожей дочкой твоей без помощи оставим. Направляемся мы в Лубны, ибо на службе у светлейшего князя Иеремии состоим, и ехать нам, кажется, в одну сторону; а хоть бы даже и в разные – все равно сбочить можно, лишь бы ассистенция наша не оказалась докучлива. Что же телег касается, то у меня их нету, так как еду с товарищами по-солдатски, без обоза, но господин посол телегами располагает и, я чай, с удовольствием, как учтивый кавалер, госпоже и барышне послужит.

Посол снял соболий колпак, ибо, зная польскую речь, понял, о чем разговор, и тотчас же, как обходительный боярин, с любезным комплиментом поспешил предложить свои услуги, после чего велел сокольничему бежать за сильно отставшими телегами. Наместник между тем глядел на девушку, которая, смешавшись от пылкового этого взгляда, опустила очи долу, а барыня с казацкой внешностью на этот раз сказала вот что:

– Господь да вознаградит вас за помощь! А поскольку до Лубен дорога не близка, не пренебрегите моим и сыновей моих кровом, под которым вам будут рады. Мы из Разлогов-Сиромах. Я – вдова князя Курцевича-Булыги, а это не дочка моя, но дочь покойного Курцевича-старшего, брата моего мужа, отдавшего сироту свою в наше попечение. Сыны мои сейчас дома, а я возвращаюсь из Черкасс, куда к алтарю Святой Пречистой со вкладом ездила. И вот на обратном пути случилась с нами эта неприятность, так что, ежели бы не политес ваших милостей, нам, пожалуй, пришлось бы на дороге заночевать.

Княгиня говорила бы еще, но вдалеке показались приближавшиеся на рысях телеги в сопровождении множества посольских каралашей и солдат Скшетуского.

– Так вы, сударыня, вдова князя Василя Курцевича? – спросил наместник.

– Нет! – резко и словно бы гневно возразила княгиня. – Я – вдова Константина, а это – дочь Василя, Елена! – сказала она, указывая на девушку.

– О князе Василе много в Лубнах разговору. Был он и воин великий, и покойного князя Михаила наперсник.

– В Лубнах не бывала, – с некоторым высокомерием сказала княгиня, – и про его воинство не слышана, но про дальнейшие деяния и вспоминать не стоит, ибо про них и так всем все известно.

Слушая это, княжна Елена, словно цветок, подрезанный косой, опустила голову, а наместник незамедлительно сказал:

– Такого, сударыня, не говори. Князь Василь, из-за ужасной еггог<sup>23</sup> правосудия людского приговоренный к лишению добра и живота, вынужден был бегством спастись, но затем невинность его была доказана, о чем тоже и оглашено было, и честь ему, как мужу добродетельному, вернули; а чести тем больше, чем большая несправедливость совершилась.

Княгиня быстро глянула на наместника, и на неприятном, резком лице ее сделался заметен гнев. Однако в пане Скшетуском, хоть был он человеком молодым, воплощалось столько рыцарского достоинства, а взгляд его был так ясен, что возразить она не решилась, но зато повернулась к княжне Елене.

– Девицам этого знать не положено. Пойди-ка да присмотри, чтобы клажу из колымаги переложили на те возы, в которых мы поедем с позволения их милостей.

– Разрешите же, барышня-панна, помочь тебе, – сказал наместник.

Они вдвоем пошли к колымаге, а когда оказались друг против друга у противоположных дверей, шелковая бахрома очей княжны распахнулась, и взор ее, словно теплый и ясный луч солнца, упал на лицо поручика.

– Как мне благодарить вашу милость, сударь... – сказала она голосом, показавшимся наместнику сладостной музыкой, звукам лютни и флейт подобной, – как мне благодарить тебя за то, что вступился за достоинство отца моего, противу кривды, которая от родственников ему делается.

– Милостивая панна, – ответил наместник, чувствуя, что сердце тает в груди его, как снег весною, – да не оставит меня Господь, а я ради благодарности твоей готов хоть в огонь прыгнуть, а то и вовсе кровь отдать, но если столь велико желание, то невелика заслуга, а ввиду малости ее не подобает мне благодарной платы из уст твоих принимать.

– Ежели пренебрегаешь ею, сударь, то я, бедная сирота, даже не знаю, как по-иному благодарность выразить.

– Не пренебрегаю я, – с возрастающим пылом возразил наместник, – но немалый сей фавор жажду заслужить долгой и преданной службой и о том лишь прошу, чтобы любезная барышня принять от меня службу эту благоволила.

Княжна, слыша такие слова, снова смешалась, покраснела, потом вдруг кровь отхлынула от ее щек, и, закрыв лицо ладонями, она ответила огорченным голосом:

– Одни несчастья принесет вашей милости служба эта.

А наместник наклонился к дверцам коляски и сказал тихо и трогательно:

– Принесет, что Бог пошлет. А хоть бы и страданье! Все равно я к ногам твоим, милостивая панна, упасть готов и ее вымаливать.

– Возможно ли, едва увидев меня, столь огромное желание к услужению возыметь?

– Стоило мне тебя увидеть, как я о себе тотчас думать забыл и чувствую, что вольному до сих пор солдату в раба, кажется, превратиться придется; но на то, как видно, воля Божья. Сердечная страсть, она стреле подобна, неожиданно грудь пронзающей: и вот я сам удар ее почувствовал, хотя еще вчера не поверил бы, скажи мне кто, что такое может случиться.

– Если ваша милость вчера бы не поверил, как же я сегодня поверить могу?

– Время, любезная панна, убедит тебя в том. А искренность хоть сейчас, не только в словах моих, но и на лице увидеть можешь.

И снова шелковые завесы девичьих очей распахнулись, и взору княжны открылось благородное и мужественное лицо молодого воина: взгляд его исполнен был такого восхищения, что лицо ее покрылось густым румянцем. Но теперь очей она не опускала, и он какое-то время впивал сладость дивного этого взора. И глядели они так друг на друга, точно два существа,

---

<sup>23</sup> ошибки (лат.).

которые хоть и встретились на большой дороге в степи, но знают, что избрали один другого раз и навсегда и души их, точно два голубя, начинают свой полет одна к другой.

Минута упоения этого была прервана резким голосом Курцевичихи, звавшей княжну. Подъехали телеги. Каралаши начали переносить на них поклажу из колымаги, и скоро все было готово.

Учтивый боярин господин Розван Урсу уступил дамам собственную карету, наместник сел в седло, и все двинулись.

День уже клонился на покой. Разлившиеся воды Кагамлыка сияли золотом заходящего солнца и пурпуром заката. Высоко в небе собрались стайки легких туч; они, постепенно алея, тихо двигались к горизонту, точно, утомясь парением в поднебесье, собирались улечься спать в какую-то неведомую колыбель. Скшетуский ехал рядом с княжной, но беседую ее не занимал, потому что говорить, как они только что разговаривали, при посторонних не мог, а слова, ничего не значащие, на язык не шли. И только чувствовал он в своем сердце сладость, а в голове его что-то шумело, точно вино.

Вся процессия бодро устремлялась вперед, и тишину нарушало только фыркание лошадей да звон стремени о стремя. Потом на задних возах каралаши затянули тоскливую валашскую песню, однако вскоре умолкли, и тогда сделался слышен гнусавый голос пана Лонгина, благолепно распевającego: «Я причина на небеси свету немеркнущему и, яко мгла, покрыла твердь всяческую». Тем временем стемнело. Звездочки замерцали в небе, а с влажных лугов поднялись белые, подобные морям бескрайним, туманы.

Въехали в лес, но не проехали и нескольких верст, как послышался конский топот и пятеро всадников возникли впереди. Это были княжичи, узнавшие от возницы о приключившейся их матери беде и спешившие на помощь, ведя с собой повозку, запряженную четверней.

– Это вы, сынки? – окликнула старая княгиня.

Всадники подъехали к телегам.

– Мы, мать!

– Ну, здравствуйте! Благодаря этим вот сударям мне уж и не нужна помощь. А это сынки мои, которых я вашему покровительству, милостивые государи, препоручаю: Симеон, Юр, Андрей и Миколай. А кто ж там пятый? – сказала она, вглядываясь внимательней. – Гей! Ежели в потемках старые глаза не обознались, это, никак, Богун, а?

Княжна внезапно откинулась в глубь кареты.

– Поклон вам, княгиня, и вам, княжна Елена! – промолвил пятый ездок.

– Богун! – сказала старуха. – Из полка, соколик, прибыл? А с торбаном ли? Ну здравствуй, здравствуй! Гей, сынки! Я уж пригласила их милостей господ на ночлег в Разлоги, а теперь вы им поклонитесь! Гость в дом – бог в дом! Не побрезгуйте, судари, кровом нашим.

Бульги снимали шапки.

– Покорно просим ваши милости в недостойные пороги.

– Они уже согласились – и его светлость господин посол, и его милость господин наместник. Знатных кавалеров принимать будем: только вот не знаю, придется ли им, к деликатесам придворным привыкшим, по вкусу наше убогое хлебово.

– Солдатским мы хлебом, не дворским вскормлены, – сказал Скшетуский.

А господин Розван Урсу добавил:

– Едал я уже радушный хлеб в шляхетских домах и знаю, что дворскому до него далеко.

Повозки двинулись, и старая княгиня заговорила снова:

– Давно, ох давно миновали добрые для нас времена. На Волыни да на Литве есть еще Курцевичи, которые и жолнеров наемных держат, и во всем по-господски живут, только они кровных своих, какие победнее, знать не хотят, за что Господь с них и взыщет. У нас же прямо-таки нужда казацкая, и вы, судари, должны нам ее простить, а что ото всей души предложено

будет, принять с открытым сердцем. Я с пятью сыновьями сидим на одной деревеньке да на десяти с лишним слободках, а при том еще и оную барышню опекаем.

Слова эти наместника удивили, ибо в Лубнах он слышал, что Разлоги были немалым шляхетским именем и принадлежали некогда князю Василию, отцу Елены. Однако поинтересоваться, каким образом перешли они в руки к Константину и его вдове, он счел неуместным.

– У вас, значит, любезная сударыня, пять сыновей? – вступил в разговор Розван Урсу.

– Было пятеро, один в одного, – ответила княгиня. – Да только старшему, Василию, нехристи в Белгороде очи факелами выжгли, отчего он умом повредился. Когда молодые в поход уходят, я остаюсь только с ним да с панною, с которою одни хлопоты, радости же никакой.

Высокомерный тон, с каким старая княгиня говорила о племяннице, был столь явен, что не ускользнул от внимания Скшетуского. В груди его закипел гнев, и он чуть было не сказал грубое слово, но брань замерла на устах, когда, взглянув на княжну, поручик при свете месяца увидел в глазах ее слезы...

– Что с тобою, любезная барышня? Отчего плачешь? – тихо спросил он.

Княжна не ответила.

– Я не могу видеть твоих слез, – сказал Скшетуский и наклонился к ней, а заметив, что старая княгиня беседует с господином Розваном Урсу и не глядит в их сторону, продолжал допытываться: – Ради Бога, скажи хоть слово, ибо, клянусь небом, я кровь и здоровье отдам, лишь бы тебя утешить.

Внезапно поручик почувствовал, что кто-то из верховых так сильно теснит его, что кони чуть ли не боками трутся.

Разговор с княжною прервался, а Скшетуский, удивленный и разозленный, повернулся к невеже.

При свете месяца он увидел глаза, глядевшие дерзко, вызывающе и вместе с тем насмешливо.

Страшные очи эти светились, точно волчьи глазища в темном бору.

«Это еще что такое? – подумал наместник. – Бес или кто?» – и, глядя в упор в горящие зрачки, спросил:

– А с чего это ты, сударь, конем напирал и глазами меня буруешь?

Всадник ничего не ответил, однако глядеть продолжал так же упорно и нахально.

– Ежели темно, могу огня высечь, а ежели узка дорога, давай-ка в степь! – сказал наместник, повышая голос.

– А т и о д л і т а й, л я ш к у, о д к о л я с к и, к о л и с т е п б а ч и ш, – ответил всадник.

Наместник, будучи человеком в решениях скорым, без лишних слов так сильно пнул лошадь наглеца в брюхо, что та всхрапнула и одним скачком прыгнула к самой обочине.

Всадник ее осадил, и какое-то мгновение казалось, что он собирается броситься на Скшетуского, но тут раздался резкий, повелительный голос старой княгини:

– Б о г у н, щ о з т о б о ю?

Эти слова произвели немедленное действие. Всадник повернул коня на месте и переехал по другую сторону кареты к княгине, та же продолжала:

– Щ о з т о б о ю? Эй! Ты не в Переяславе и не в Крыму, а в Разлогах, не забывай. А теперь поезжай-ка вперед да проводи телеги, а то яр сейчас будет, а в яру темно. Х о д и, с і р о м а х а!

Скшетуский был сколько удивлен, столько и разгневан. Богун этот, как видно, искал ссоры и добился бы своего, но зачем? С чего вдруг это неожиданное недоброжелательство?

В голове наместника мелькнула мысль, что причиною тому княжна, и он в этой мысли утвердился, когда, взглянув на лицо девушки, увидел, несмотря на ночную тьму, что оно было блее полотна и что написан на нем нескрываемый ужас.

Между тем Богун, как и велела ему княгиня, рванул с места вперед, а старуха, глядя ему вслед, сказала не столько себе, сколько наместнику:

– Отчаянная это голова и дьявол казацкий.

– И не в полном уме, как видно, – презрительно заметил Скшетуский. – Это что же – казак на службе у сыновей твоей милости, сударыня?

Старая княгиня откинулась на подушки кареты.

– Что ты, сударь, говоришь! Это же Богун, подполковник казацкий, прославленный улаец, сыновьям моим друг, а мне все равно что приемный, шестой сын. Быть не может, чтобы ты, сударь, имени его не слышал. Про него же все знают.

И правда, Скшетускому имя это было хорошо известно. Оно гремело громче имен многочисленных казацких полковников и атаманов, и молва славila его на обоих берегах Днепра. Слепцы пели песни про Богуна по ярмаркам и корчмам, на посиделках о молодом атамане рассказывали легенды. Кем он был, откуда взялся, никто не знал. Но колыбелью ему, уж точно, были степи, Днепр, пороги и Чертомлык со всем своим лабиринтом теснин, заливов, омутов, островов, скал, лощин и тростников. Сызмалу сжился он и слился с этим первозданным миром.

В мирную пору хаживал он вместе с прочими «за рыбою и зверем», шатался по днепровским излучинам, с толпою полуголых дружков бродил по болотам и камышам, а нет – так целые месяцы пропадал в лесных чащобах. Школою его были вылазки в Дикое Поле за татарскими стадами и табунами, засады, битвы, набеги на береговые улусы, на Белгород, на Валахию, либо – чайками – в Черное море. Других дней, кроме как в седле, он не знал, других ночей, кроме как у степного костра, не ведал. Рано стал он любимцем всего Низовья, рано сам начал предводительствовать другими, а вскоре и всех превзошел отвагою. Он был готов с сотней сабель идти на Бахчисарай и на глазах у самого хана жечь и палить; он громил улусы и местечки, вырезал до последнего жителей, пленных мурз разрывал надвое лошадыми, налетал, как буря, проносился, как смерть. На море он, словно бешеный, бросался на турецкие галеры. Забирался в самое сердце Буджака, влазил, как говорили, прямо в пасть ко льву. Некоторые походы его были просто безрассудны. Менее отважные, менее бесшабашные корчились на колах в Стамбуле или гнили на веслах турецких галер – он же всегда оставался цел и невредим, да еще и с богатой добычей. Поговаривали, что скопил он несметные сокровища и прячет их в приднепровских чащобах, но не раз тоже видели, как топчет он перемазанными сапогами бархаты и парчу, как стелет коням под копыта ковры или, разодетый в дамаст, купается в дегте, нарочно показывая казацкое презрение к великолепным этим тканям и нарядам. Долго он нигде не засиживался. Поступками его вершили удаль и молодечество. Порою, приехав в Чигирин, Черкассы или Переяслав, гулял он напропалую с запорожцами, порою жил, как отшельник, с людьми не знался и уходил в степи. Порою ни с того ни с сего окружал себя слепцами, по целым дням слушая их игру и песни, а их самих золотом осыпая. Среди шляхты умел он быть дворским кавалером, среди казаков самым бесшабашным казаком, среди рыцарей – рыцарем, среди грабителей – грабителем. Некоторые считали его безумцем, ибо это была душа и необузданная, и безрассудная. Зачем он жил на свете, чего хотел, куда стремился, кому служил? – он и сам не знал. А служил он степям, ветрам, битвам, любви и собственной неумной душе. Эта неумность и отличала его от прочих неотесанных вожаков и ото всей разбойной братии, у которой на уме только и было что грабежи и которой было все равно – татар грабить или своих. Богун добычу брал тоже, но войну предпочитал добыче; рисковал ради самого риска; за песни расплачивался золотом; искал славы, а об остальном не заботился.

Изо всех атаманов только он, пожалуй, и олицетворял собою казака-рыцаря, потому и песня избрала его своим любимцем, а имя прославилось по всей Украине.

В последнее время Богун сделался переяславским подполковником, но власть исправлял полковничью, ибо старый Лобода уже нетвердо держал булаву костенеющей рукою.

Так что Скшетуский прекрасно знал, кто такой Богун, а если и спросил старую княгиню, казак ли тот на службе у ее сыновей, то сделал так ради умышленного небрежения, ибо почуял

в нем врага; и, хоть знаменит был атаман, закипела кровь в наместнике, а все потому, что казак держал себя с ним столь нагло.

Еще он понял, что если все так началось, то и закончится непросто. Но остер был на язык пан Скшетуский и уверен в себе, и даже чересчур, и тоже не отступал ни перед чем, а до опасностей и вовсе был жаден. И хоть готов он был незамедлительно погнать коня вслед Богуну, но ехать рядом с княжною продолжал. К тому же телеги уже миновали яр и вдали показались огни Разлогов.

## Глава IV

Курцевичи-Булыги были старинным княжеским родом, гербом которого был Кур, а родословие велось от Кориата; на самом же деле род происходил якобы от Рюрика. Из двух главных ветвей одна сидела на Литве, другая на Волыни; на Заднепровье же перебрался в свое время князь Василь, один из многочисленных потомков волынской линии. Будучи небогат, он не пожелал прозябать среди могущественных родственников и поступил на службу к князю Михаилу Вишневецкому, отцу многославного Яремы.

Прославив на этом поприще свое имя и оказав князю немалые рыцарские услуги, он получил за это в наследственное владение Красные Разлоги, прозванные потом из-за великого множества волков Волчьими Разлогами, и на постоянное жительство там осел. В год 1629-й, перешедши в латинство, он женился на Рагозянке, девице из почтенного шляхетского рода, происходившего из валашской земли. Через год от брака этого появилась на свет дочка Елена. Мать умерла при родах, князь Василь же, о втором браке не помышляя, посвятил себя целиком хозяйству и воспитанию единственной дочери. Был он человеком сильного характера и необычайных достоинств. Довольно быстро добившись небольшого, но и немалого состояния, он тотчас вспомнил о своем старшем брате Константине, который, оставаясь на Волыни в бедности и отчуждении от владетельных родичей, вынужден был ходить в арендаторах. Его, с его женой и пятью сыновьями, перевез Василь в Разлоги и стал делиться с ними каждым куском хлеба. Так и жили в согласии оба Курцевича до самого конца 1634 года, когда Василь с королем Владиславом под Смоленск пошел. Там-то и случилась прискорбная история, ставшая причиной его гибели. В королевском лагере было перехвачено письмо, писанное к Шеину, а подписанное именем князя и запечатанное Куром. Столь неоспоримое свидетельство измены, совершенной рыцарем, имя которого до той поры было безупречно, всех поразило и ошеломило. Напрасно Василь небеса в свидетели призывал, что письмо писано не его рукой и не им подписано, — герб Кур на печати исключал всякие сомнения, а в потерю перстня с печаткой, чем князь все дело объяснял, никто не поверил. В конце концов князь, *pro crimine perduellionis*<sup>24</sup> приговоренный к лишению чести и живота, вынужден был бежать. Явившись ночью в Разлоги, Василь стал заклинать всеми святыми брата Константина, чтобы тот заботился о его дочке, как родной отец; сам же исчез навсегда. Говорили, что он послал из Бара письмо князю Иеремии, прося не отнимать куска хлеба у Елены и позволить ей спокойно жить в Разлогах под опекою Константина; потом всякий слух о князе пропал. Были сведения, что он вскоре умер; еще говорили, что он примкнул к цесарским и погиб на немецкой войне. Но кто мог знать что-то наверняка? По-видимому, он и в самом деле погиб, потому что более судьбою дочери не интересовался. Скоро о нем и говорить перестали, а вспомнили тогда, когда выяснилось, что никакой вины на князе нету. Некий Купцевич, витебчанин, умирая, признался, что писал под Смоленском Шеину он, а запечатал письмо найденным в лагере перстнем. Ввиду такого свидетельства сожаление и растерянность овладели всеми сердцами. Приговор был пересмотрен, князю Василию вернули доброе имя, но для осужденного воздаяние за пережитое пришло слишком поздно. Разлоги же Иеремия и не думал отнимать, ибо Вишневецкие, лучше прочих зная Василия, никогда на нем вины не полагали. Он бы даже мог прибегнуть к их могущественному покровительству и над приговором посмеяться, а если удалился, то потому лишь, что не вынес бесчестия.

Елена спокойно росла в Разлогах под заботливым присмотром дяди, и только после его смерти настали для нее тяжелые времена. Жена Константина, происхождения будучи сомнительного, по характеру была женщиной суровой, крутой и энергичной: муж только и мог держать ее в послушании. После его смерти она железной рукой стала править в Разлогах.

<sup>24</sup> по обвинению в государственной измене (лат.).

Служба трепетала ее; холопы боялись барыни как огня, соседям она тоже вскоре себя показала. На третьем году правления своего, одетая по-мужски, верхом предводительствуя челядью и наемными казаками, она дважды совершила вооруженные нападения на Сивинских в Броварках. Когда полки князя Иеремии поколотили какую-то татарскую ватагу, бесчинствовавшую у Семи-Моги, княгиня, возглавив своих людей, уничтожила остатки недобитых, удравших от князя к Разлогам. В Разлогах же она обосновалась прочно и стала считать их своей и своих сыновей собственностью. Сыновей она любила, как волчиха волчонков, но, будучи простолюдинкой, не позаботилась о приличном для них воспитании. Монах греческого обряда, привезенный из Киева, выучил их грамоте и цифири, на чем наука и закончилась. А между тем поблизости были Лубны с княжеским двором, при котором молодые князья могли приобрести лоск, понатореть в канцелярском деле для мирской пользы или, записавшись в хоругви, в рыцарской науке. У княгини, как видно, были свои причины в Лубны их не посылать.

А вдруг бы князь Иеремия припомнил, чьи они, Разлоги, и поинтересовался бы судьбою Елены? Или сам, чья память Василя, решил бы взять попечительство на себя? Тогда, наверно, пришлось бы из имени убираться, и поэтому княгиню устраивало, чтобы в Лубнах вообще позабыли о существовании каких-то Курцевичей. Вот молодые князья и воспитывались невеждами, скорее по-казацки, чем по-шляхетски. Уже отроками принимали они участие в сварах старой княгини, в набегах на Сивинских, в походах на татарские шайки. Чувствуя врожденное отвращение к грамоте и книгам, княжичи по целым дням стреляли из луков, обучались управляться с кистенем и саблей или накидывать аркан. Даже хозяйство не интересовало их, ибо княгиня не выпускала его из рук. И грустно было видеть этих потомков блистательного рода, в жилах которых текла благородная кровь, но привычки остались дикими и грубыми, а разум и очерствевшие сердца напоминали залежь степную. Вымахали они что дубы; однако, сознавая свою невоспитанность и неотесанность, стеснялись водиться со шляхтой, более удобным находя общество диких казацких вожakov. Они давно вошли в сношения с Низовьем, где к княжичам относились, как к своим. По полгода, а то и больше пропадали они на Сечи, отправлялись с казаками на «промысел», ходили походами на турок и татар; и такие походы стали в конце концов главным и любимым их времяпрепровождением. Мать этому не препятствовала, потому что, как правило, возвращались они с богатой добычей. Увы, в одном из походов старший, Василь, попал в руки к поганым. Братья с помощью Богуна и Богуновых запорожцев хоть и отбили старшего, но ослепленным. С той поры ему больше ничего не оставалось, как сидеть дома; и, насколько прежде он был самый свирепый, настолько теперь помягчел, совершенно предавшись размышлению и молитве. Молодые же и далее продолжали заниматься ратным делом, что в конце концов снискало им прозвище «князья-казаки». Ко всему – довольно было взглянуть на Разлоги-Сиромахи, чтобы сразу понять, что за люди тут обитают. Когда пан Скшетуский и посол с посольскими телегами въехали в ворота, они увидели не усадьбу, а скорее громадный сарай, из огромных дубовых кряжей сложенный, с узкими, похожими на бойницы, окнами. Помещения для челяди и казаков, конюшни, амбары и чуланы непосредственно примыкали к жилью, составляя нескладное сооружение, из многих – то высоких, то низких – строений состоящее, по виду столь убогое и неказистое, что, не будь света в окошках, почесть все это жильем человеческим было бы трудно. На майдане перед домом торчали два колодезных журавля, ближе к воротам стояла столбушка с положенным на нее колесом для посаженного на цепь ручного медведя. Могучие ворота – тоже из дубовых кряжей – служили въездом на майдан, целиком окруженный рвом и частоколом.

Все указывало, что это – оборонное сооружение, укрепленное противу набегов и нападений. Видом своим оно напоминало еще и казацкую «паланку»; и, хотя большинство порубежных шляхетских усадеб такого, а не другого были вида, эта куда более прочих была похожа на гнездо хищников. Челядь, вышедшая с факелами встречать гостей, больше смахивала на разбойников, чем на дворян. Огромные псы рвались на майдане с цепей, словно намереваясь



сорваться и кинуться на приезжих, из конюшен доносилось конское ржание, а молодые Булыги вместе с матерью принялись окликать слуг, отдавать распоряжения и браниться. Среди всего этого шума и гама гости прошли в дом, и тут господин Розван Урсу, замечавший пока лишь дикость и убожество усадьбы и сожалевавший, что принял приглашение ночевать, искренне изумился тому, что открылось его взору.

Внутри жилище совершенно не соответствовало захудалому внешнему виду. Сперва вошли в просторные сени, стены которых почти сплошь были увешаны доспехами, оружием и шкурами диких зверей. В двух громадных очагах пылали бревна, и в ярком свете пламени видны были богатые сбруи, сверкающие латы, турецкие панцири, мерцающие драгоценными камнями; кольчуги с золочеными пряжками, полупанцири, набрюшники, рынграфы, брони великой цены, шлемы польские и турецкие, а также мисюрские шапки с верхом из серебра. На противоположной стене развешаны были щиты, к тому времени вышедшие из употребления, а рядом польские копья и восточные джириды; режущего оружия тоже было предостаточно – от сабель до кинжалов и ятаганов, рукояти которых, точно звездочки, мерцали, отражая свет, многими цветами. По углам висели связки шкур: лисьих, волчьих, медвежьих, куньих и горностаевых – трофеи ловитв княжичей. Ниже, вдоль стен, дремали на обручах ястребы, соколы и большие беркуты, привезенные из далеких восточных степей и незаменимые в облавах на волков.

Затем гости прошли в просторную гостевую горницу. И здесь в очаге под колпаком гудел ярый огонь, но тут было еще роскошнее, чем в сенях. Голые бревна стен завешаны были шитьем, на полу лежали дивные восточные ковры. Посередке стоял большой стол на крестовинах, сколоченный из простых досок, весь уставленный кубками венецейского стекла, золочеными или гравированными. У стен виднелись столы поменьше, комоды и поставцы, а на них – окованные бронзой шкатулки, ларцы, медные подсвечники и часы – все в свое время награбленное турками у венецианцев, а казаками у турок. Вся комната завалена была множеством роскошных вещиц, как правило, неведомого хозяевам назначения. И всюду роскошь сосуществовала с заурядной степной неприхотливостью. Драгоценные турецкие комоды, инкрустированные бронзой, черным деревом и перламутром, стояли рядом с нестругаными полками, простые деревянные стулья возле мягких диванов, покрытых коврами. Подушки, лежавшие по восточному обычаю на диванах, наволочки на себе имели из алтабаса или из голубой камки, но пухом была набита редко какая, в основном же сеном или гороховой соломой. Дорогие ткани и бесценные предметы – так называемое «добро», турецкое или татарское, – частью были куплены за гроши у казаков, частью захвачены во многих войнах еще старым князем Василем, частью – молодыми Булыгами в походах с низовыми, ибо княжичи предпочитали ходить на чайках в Черное море, чем жениться или присматривать за хозяйством. Все это не удивило пана Скшетуского, хорошо знавшего порубежные усадьбы, но валашский боярин диву давался, среди безмерного этого великолепия вида Курцевичей, обутых в яловичные сапоги и облаченных в кожаные, не многим лучшие тех, какие носили слуги, удивлен тоже был и пан Лонгин Подбиятка, привыкший у себя на Литве к другим обычаям.

Молодые князья между тем принимали гостей радушно и в высшей степени обходительно, однако – мало бывавшие в свете – обнаруживали манеры столь неуклюжие, что наместник едва сдерживал улыбку.

Старший, Симеон, говорил:

– Душевно рады вашим милостям и благодарим за милость вашу. Наш дом – ваш дом, так что располагайтесь, как у себя. Кланяемся панам милостивцам под нашим кровом убогим.

И хоть не чувствовалось в тоне его ни малейшего самоуничижения, хоть не ощущалось, что принимает он людей более значительных, чем сам, тем не менее кланялся он по казацкому обычаю в пояс, а за ним кланялись и младшие братья, полагая, что того требует гостеприимство, и повторяя:

– Низко кланяемся вашим милостям и милости просим!..

Между тем княгиня, потянув за рукав Богуну, увела его в соседнюю комнату.

– Слышь, Богун, – сказала она торопливо, – на долгие разговоры у меня времени нету. Видала я, что ты на этого молодого шляхтича взъелся и ссоры с ним ищешь?

– М а т и! – ответил казак, целуя старухину руку. – Свет широкий, ему одна дорога, мне другая. Я его не знаю и знать не хочу, только пусть он княжне ничего не шепчет, не то, как ты меня тут видишь, так и он мою саблю увидит.

– Гей, сбесился, сбесился! А чем это ты думаешь, казаченьку? Что с тобою? Хочешь нас и себя погубить? Это ведь жолнер Вишневецкого и наместник, человек не простой, ибо от князя к хану с посольством ездил. Если волос с его головы упадет под нашим кровом, знаешь что будет? Воевода взор свой обратит на Разлоги, за него отомстит, нас на все четыре стороны выгонит, а Елену в Лубны возьмет – и что тогда? С ним тоже задираться станешь? Лубны воевать пойдешь? Попытайся, если кола захотел попробовать. Казаче непутевый!.. Глядит шляхтич на девку или не глядит, да только как приехал, так и уедет. И дело с концом. Так что изволь держать себя в руках, а не желаешь – поезжай, откуда приехал, потому как беду на нас накличешь!

Казак покусывал ус, сопел, но, однако же, понял, что княгиня говорит дело.

– Они завтра уедут, мать, – сказал он, – а я уж сдержуся; пускай только чернобровая к ним не выходит.

– А тебе что за дело? Хочешь, чтобы подумали, что я взаперти ее держу? Так выйдет же она, потому что я того желаю! А ты у меня в доме не распоряжайся, не хозяин небось!

– Не сердайте, княгиня. Коли иначе не можно, так я буду для них слаще халвы турецкой. Зубом не скрипну, за саблю не схвачусь! Хоть бы меня злоба сожрала, хоть бы душа стоном зашлась! Будь по-вашему!

– А вот это разговор, соколик! Возьми торбан, сыграй, спой, у тебя и на душе легче станет. А теперь ступай к гостям.

Они вернулись в горницу, где князя, не зная, чем занять гостей, всё уговаривали их чувствовать себя как дома и в пояс кланялись. Скетуский сразу же резко и гордо поглядел в глаза Богуну, но не обнаружил в них ни дерзости, ни вызова. Лицо молодого атамана светилось вежливой радостью, столь хорошо изображаемой, что она могла обмануть самый недоверчивый взгляд. Наместник внимательно приглядывался к атаману, так как раньше, в темноте, толком его не разглядел. Увидел он молодца стройного, как тополь, смуглолицего, с пышными черными висячими усами. Веселость на лице Богуну пробивалась сквозь украинскую задумчивость, точно солнце сквозь туман. Чело у атамана было высокое, но закрытое черной чуприною в виде челки, уложенной отдельными прядками и над густыми бровями постриженной ровными зубчиками. Орлиный нос, изогнутые ноздри и белые зубы, сверкавшие при каждой улыбке, придавали всему лицу выражение несколько хищное, но вообще был это тип красоты украинской, пылкой, броской и задорной. На диво превосходная одежда заметно отличала степного молодца от облаченных в кожаные князей. На Богуне был жупан из тонкой серебряной парчи и алый кунтуш; цвета эти носили все переяславские казаки. Бедра ему опоясывал креповый кушак, с которого на шелковых перевязях свисала богатая сабля; причем и сабля, и костюм меркли рядом с заткнутым за пояс турецким кинжалом, рукоять которого столь была усеяна камнями, что сыпала во все стороны несметные искры. Человека, так одетого, всякий бы наверняка счел скорее панычем высокородным, чем казаком; к тому же свобода держаться и господские его манеры тоже не обнаруживали низкого происхождения. Подойдя к пану Лонгину, он выслушал историю о прашуре Стовейке и обезглавлении трех крестоносцев, а затем повернулся к наместнику и, словно между ними ничего не произошло, спросил совершенно непринужденно:

– Ваша милость, как я слышал, из Крыма возвращаешься?

– Из Крыма, – сухо ответил наместник.

– Бывал там и я. И хотя в Бахчисарай не заглядывал, но заглянуть надеюсь, ежели некоторые благоприятные подтвердятся известия.

– О каких известиях, сударь, говорить изволишь?

– Ходят слухи, что, если король наш милостивый войну с турчином начнет, князь-воевода в Крым с огнем и мечом пожелует, и слухам этим рады по всей Украине и на Низовье, ибо если не под его началом погуляем мы в Бахчисарае, тогда под чьим же еще?

– Погуляем, истинный бог! – откликнулись Курцевичи.

Поручику польстило уважение, с каким атаман отзывался о князе, поэтому он улыбнулся и сказал уже более мягким тоном:

– Твоей милости, как я погляжу, мало прославивших тебя походов с низовыми.

– Маленькая война – маленькая слава, великая война – великая слава. Конашевич Сагайдачный не на чайках, но под Хотинем ее добывал.

В эту минуту отворилась дверь, и в комнату, ведомый под руку Еленой, тихо вошел Василь, самый старший из Курцевичей. Это был человек в зрелом возрасте, бледный, исхудалый, с напоминающим византийские лики отрешенным и печальным лицом. Длинные волосы, рано поседевшие от горестей и страданий, падали ему на плечи, вместо глаз видны были две красные ямы; в руке он держал медный крест, которым стал осенять комнату и всех присутствующих.

– Во имя Бога и Отца, во имя Спаса и Святой-Пречистой! – заговорил слепой. – Если вы апостолы и благую весть несете, добро пожаловать под христианский кров. Аминь.

– Извините, судари, – буркнула княгиня. – Он не в своем уме.

Василь же, осеняя всех крестом, продолжал:

– Яко стоит в «Трапезах апостольских»: «Пролившие кровь за веру – спасены будут; погибшие ради благ земных, корысти ради или добычи – прокляты будут...» Помолитесь же! Горе вам, братья! Горе и мне, ибо за-ради добычи творили мы войну! Господи, помилуй нас, грешных! Господи, помилуй... А вы, мужи, издалека притекшие, какую весть несете? Апостолы ли вы?

Он умолк и, казалось, ждал ответа, поэтому наместник немного погодя отозвался:

– Недостойны мы столь высокого чина. Мы всего лишь солдаты, за веру умереть готовые.

– Тогда спасены будете! – сказал слепой. – Но не настал для нас еще день избавления... Горе вам, братья! Горе мне!

Последние слова сказал он, почти стеной, и такое безмерное отчаяние написано было на его лице, что гости не знали, как себя повести. Тем временем Елена усадила слепого на стул, а сама, выскользнув в сени, тут же возвратилась с лютней.

Тихие звуки пронеслись по комнате, и, вторя им, княжна запела духовную песню:

Ночью и днем я взываю в надежде!  
Снижди к слезам и молениям усердным,  
Грешному стань мне отцом милосердным,  
Смилуйся, Боже!

Слепец откинул голову назад, вслушиваясь в слова, действовавшие на него, казалось, как целительный бальзам, ибо с измученного его лица постепенно исчезало выражение боли и страха; потом голова несчастного упала на грудь, и он остался сидеть, словно бы в полусне или полуоцепенении.

– Если песню допеть, он и вовсе успокоится, – тихо сказала княгиня. – Видите ли, судари, безумие его состоит в том, что он ждет апостолов; и, кто бы к нам ни приехал, он тотчас же выходит спрашивать, не апостолы ли...

Елена между тем продолжала:

Выведи, Господи, дух удрученный, —  
Он заплутал в бездорожной пустыне;  
Он одинок, как в безбрежной пучине  
Челн обреченный.

Нежный голос ее звучал все сильнее, и — с лютней в руках, с очами, вознесенными горе, — она была так пленительна, что наместник глаз с нее не сводил. Он загляделся на нее, утонул в ней и позабыл обо всем на свете.

Восхищение наместника было прервано старой княгиней:

— Довольно! Теперь он нес скоро проснется. А пока что прошу ваших милостей повечерять.

— Пожалте на хлеб и соль! — эхом отозвались на слова матери молодые Булыги.

Господин Розван, будучи галантнейшим кавалером, подал княгине руку, что увидев, пан Скшетуский двинулся тотчас к княжне Елене. Сердце, точно воск, растаяло в нем, когда он ощутил на своей руке ее руку. Глаза его засверкали, и он сказал:

— Похоже, что и ангелы небесные не поют сладостнее, любезная панна.

— Грех на душу берешь, рыцарь, равняя пение мое с ангельским, — ответила Елена.

— Не знаю, беру ли, но верно и то, что охотно дал бы я себе очи выжечь, лишь бы до смерти пение твое слушать. Однако что же я говорю! Слепцом не смог бы я видеть тебя, что тоже мука непереносимая.

— Не говори так, ваша милость: уехавши от нас завтра, завтра нас и позабудешь.

— О, не случится это, ведь я, любезная панна, так тебя полюбил, что до конца дней своих иного чувства знать не желаю, а этого — никогда не забуду.

Яркий румянец залил лицо княжны, грудь стала сильнее вздыматься. Она хотела что-то ответить, но только губы ее задрожали, — так что пан Скшетуский продолжал:

— Ты сама, любезная панна, тотчас забудешь меня с этим пригожим атаманом, который пению твоему на балалайке подыгрывать станет.

— Никогда! Никогда! — шепнула девушка. — Однако ты, ваша милость, берегись его: это страшный человек.

— Что мне там какой-то казак! Пусть бы и целая Сечь с ним вместе была, я на все ради тебя готов. Ты для меня драгоценность бесценная, ты свет мой, да вот узнать бы — взаимностью ли отвечают мне.

Тихое «да» райской музыкой прозвучало в ушах пана Скшетуского, и тотчас показалось наместнику, что в груди его не одно, а десять сердец бьется; мир предстал взору посветлевшим, точно солнечные лучи осветили все вокруг; пан Скшетуский ощутил в себе неведомую дотоле силу, словно бы за плечами его распахнулись крылья. За столом несколько раз мелькнуло лицо Богуна, сильно изменившееся и побледневшее, однако наместник, зная о взаимном к себе чувстве Елены, соперника теперь не опасался. «Да пошел он к дьяволу! — думал Скшетуский. — Пусть же и мешать не суется, не то я его уничтожу!» Но, вообще-то говоря, думал он совсем про другое.

Он чувствовал, что Елена сидит рядом, что она близко, что плечом своим он почти касается ее плеча; видел он румянец, не сходявший с пылко горевшего лица, видел волнующиеся перси, очи, то скромно опущенные долу и накрытые ресницами, то сверкавшие, словно две звезды. Елена, хоть и затравленная Курцевичихой, хоть и проводившая дни свои в сиротстве, печали и страхе, была, как ни говори, пылкой украинкою. Едва упал на нее теплый луч любви, она сейчас же расцвела, точно роза, и проснулась для новой, неведомой жизни. Она вся сияла счастьем и отвагой, и порывы эти, споря с девичьей стыдливостью, окрасили ланиты ее прелестным румянцем. А пан Скшетуский просто из кожи вон лез. Он пил, забыв меру, но

мед не опьянял уже опьяневшего от любви. Никого, кроме девы своей, он за столом просто не замечал. Не видел он, что Богун бледнел все сильнее и сильнее, то и дело касаясь рукояти кинжала; не слышал, как пан Лонгин в третий раз принимался рассказывать о пращуре Стовейке, а Курцевичи – о своих походах за «турецким добром». Пили все, кроме Богуна, и лучший к тому пример подавала старая княгиня, поднимая кулявки то за здоровье гостей, то за здоровье милостивого князя и господина, то, наконец, за господаря Лупула. Еще разговаривали о слепом Василе, о прежних его ратных подвигах, о злосчастном походе и теперешнем умопомрачении, каковое Симеон, самый старший, объяснял так:

– Сами, ваши милости, посудите, ежели малейшая соринка глазу глядеть мешает, то разве же большие куски смолы, в мозги попавши, не могут разум помутить?

– Очень тонкое оно *instrumentum*<sup>25</sup>, – рассудил пан Лонгин.

Между тем старая княгиня заметила изменившееся лицо Богуна.

– Что с тобою, сокол?

– Душа болит, м а т и, – хмуро ответил тот, – да казацкое слово не дым, так что я его сдержу.

– Т е р п и, с и н к у, м о г о р и ч б у д е.

Вечеря была закончена, но мед в кулявки наливать не переставали. Пришли тож и казачки, позванные для пущего веселья плясать. Зазвенели балалайки и бубен, под звуки которых заспанным отрокам надлежало развлекать присутствующих. Затем и молодые Бульги пустились впрысядку. Старая княгиня, уперев руки в боки, принялась притопывать на одном месте, да приплясывать, да припевать, что завидя и пан Скшетуский пошел с Еленой в танец. Едва он обнял ее, ему показалось, что сами небеса прижимает он к груди. В лихом кружении танца длинные девичьи косы обмотались вокруг его шеи, словно девушка хотела навсегда привязать к себе княжеского посланца. Не утерпел тут шляхтич, улучил момент, наклонился и украдкой жарко поцеловал сладостные уста.

Поздно ночью, оставшись вдвоем с паном Лонгином в комнате, где им постлали, поручик, вместо того чтобы лечь спать, уселся на постели и сказал:

– С другим уже человеком завтра, ваша милость, в Лубны поедешь!

Подбипятка, как раз договоривший молитву, удивленно вытаращился и спросил:

– Это, значит, как же? Ты, сударь, здесь останешься?

– Не я, а сердце мое! Только *dulcis recordatio*<sup>26</sup> уедет со мною. Видишь ты меня, ваша милость, в великом волнении, ибо от желаний сладостных едва воздух *oribus*<sup>27</sup> ловлю.

– Неужто, любезный сударь, ты в княжну влюбился?

– Именно. И это так же верно, как я сижу перед тобою. Сон бежит от очей, и только вздохи желанны мне, от каковых весь я паром, надо думать, выветрюсь, о чем твоей милости поверяю, потому что, имея отзывчивое и ждущее любви сердце, ты наверняка муки мои поймешь.

Пан Лонгин тоже вздыхать начал, показывая, что понимает любовную пытку, и спустя минуту спросил участливо:

– А не обетовал ли и ты, любезный сударь, целомудрие?

– Вопрос таковой бессмыслен, ибо если каждый подобные обеты давать станет, то *genus humanum*<sup>28</sup> исчезнуть обречен.

Дальнейший разговор был прерван приходом слуги, старого татарина с быстрыми черными глазами и сморщенным, как сушеное яблоко, лицом. Войдя, он бросил многозначительный взгляд на Скшетуского и спросил:

<sup>25</sup> приспособление (лат.).

<sup>26</sup> сладостное воспоминание (лат.).

<sup>27</sup> устами (лат.).

<sup>28</sup> род человеческий (лат.).

– Не надобно ли чего вашим милостям? Может, меду по чарке перед сном?

– Не надо.

Татарин приблизился к Скшетускому и шепнул:

– Я, господин, к вашей милости с поручением от княжны.

– Будь же мне Пандаром! – радостно воскликнул наместник. – Можешь говорить при этом кавалере, ибо я ему во всем открылся.

Татарин достал из рукава кусок ленты.

– Панна шлет его милости господину эту перевязь и передать велела, что любит всею душою.

Поручик схватил шарф, в восторге стал его целовать и прижимать к груди, а затем, несколько успокоившись, спросил:

– Что она тебе сказать велела?

– Что любит его милость господина всею душою.

– Держи же за это талер. Значит, сказала, что любит меня?

– Сказала.

– Держи еще талер. Да благословит ее Господь, ибо и она мне самая разлюбезная. Передай же... или нет, погоди: я ей напишу; принеси-ка чернил, перьев да бумаги.

– Чего? – спросил татарин.

– Чернил, перьев и бумаги.

– Такого у нас в дому не держат. При князе Василе имелось; потом тоже, когда молодые князья грамоте у чернеца учились; да только давно уж это было.

Пан Скшетуский щелкнул пальцами.

– Дражайший Подбипятка, нету ли у тебя, ваша милость, чернил и перьев?

Литвин развел руками и вознес очи к потолку.

– Тьфу, черт побери! – сказал поручик. – Что же делать?

Татарин меж тем присел на корточки у огня.

– Зачем писать? – сказал он, шевеля угли. – Панна спать пошла. А что написать хотел, то завтра и сказать можно.

– Если так, что ж! Верный ты, как я погляжу, слуга княжне. Возьми же и третий талер. Давно служишь?

– Эге! Сорок лет будет, как князь Василь меня ясырем взял; и с того времени служил я ему верно, а когда ночью уезжал он неведомо куда, то дитя Константину оставил, а мне сказал: «Чехла! И ты девочку не оставь. Береги ее пуще глаза». Лаха иль алла!

– Так ты и поступаешь?

– Так и поступаю; в оба гляжу.

– Расскажи, чего видишь. Как здесь княжне живется?

– Недоброе тут задумали, Богуну ее хотят отдать, псу проклятому.

– Эй! Не бывать этому! Найдутся заступники!

– Дай-то Бог! – сказал старик, раскидывая горящие головешки. – Они ее Богуну хотят отдать, чтобы взял и унес, как волк ягненка, а их в Разлогах оставил, потому что Разлоги ей, а не им, после князя Василя оставлены. Он же, Богун этот, на такое согласен, ведь по чащобам у него сокровищ больше спрятано, чем песка в Разлогах; да только ненавидит она его с тех пор, как при ней он человека чеканом разрубил. Кровь пала меж них и ненавистью проросла. Нет Бога, кроме Бога!

Уснуть в ту ночь наместник не мог. Он ходил по комнате, глядел на луну и обдумывал разные планы. Теперь было ясно, что замышляют Булыги. Возьми за себя княжну какой-нибудь соседний шляхтич, он бы востребовал и Разлоги, и был бы прав, так как они принадлежали ей, а то и поинтересовался бы еще отчетом по опеке. Вот почему Булыги, сами давно оказавшиеся, решили отдать девушку казаку. От этой мысли пан Скшетуский стискивал кулаки и

порывался схватить меч. Он решил разоблачить низкие козни и чувствовал в себе силы совершить это. Ведь попечительство над Еленой осуществлял и князь Иеремия: во-первых, потому что Разлоги были пожалованы старому Василию Вишневецкими, а во-вторых, потому что сам Василь писал из Бара князю, умоляя о попечении. Лишь будучи занят обширными своими трудами, походами и предприятиями, воевода до сих пор не сумел озаботиться опекою. Но достаточно будет ему напомнить, и справедливость восторжествует.

В божьем мире уже светало, когда Скшетуский повалился на постель. Спал он крепко и скоро проснулся с готовым решением. Они с паном Лонгином спешно оделись, поскольку телеги стояли уже наготове, а солдаты пана Скшетуского сидели в седлах, готовые к отъезду. В гостевой горнице посол подкреплялся похлебкою в обществе Курцевичей и старой княгини; не было только Богуна: спал ли он еще или уехал – было неясно.

Поевши, Скшетуский сказал:

– Сударыня! *Tempus fugit*<sup>29</sup>, вот-вот и на коней сядем, но прежде чем от всего сердца поблагодарить за гостеприимство, хотел бы я об одном важном деле с вашей милостью, сударыня, и с их милостями, сыновьями твоими, доверительно переговорить.

На лице княгини изобразилось удивление; она поглядела на сыновей, на посла и на пана Лонгина, словно бы по их виду собираясь угадать, о чем речь, и с некоторою тревогой в голосе сказала:

– Покорная слуга вашей милости.

Посол хотел удалиться, но она ему не позволила, а сама с сыновьями и наместником перешла в уже известные нам, увешанные доспехами и оружием сени. Молодые князья расположились в ряд за спиною матери, а она, стоя перед Скшетуским, спросила:

– О каком же деле, ваша милость, говорить желаешь?

Наместник быстро, почти сурово, поглядел на нее.

– Прости, сударыня, и вы, молодые князья, что противу обычая, вместо того чтобы через достойных послов действовать, сам в деле своем ходатаем буду. Увы, другой возможностью не располагаю, а раз чему быть, того не миновать, то без долгого кунктаторства представляю вашей милости, сударыня, и вашим милостям, как опекунам, мою покорную просьбу – соблаговолить княжну Елену мне в жены отдать.

Если бы в минуту эту, в зимний этот день, молния ударила в майдан Разлогов, она бы произвела на княгиню с сыновьями впечатление меньшее, чем слова наместника. Какое-то время они с изумлением глядели на гостя, а тот, прямой, спокойный и на удивление гордый, стоял перед ними, словно бы не просить, но повелевать намеревался. Не зная, что ответить, княгиня принялась спрашивать:

– Как это? Вам, сударь? Елену?

– Мне, любезная сударыня. И это мое твердое намерение!

С минуту все молчали.

– Жду ответа вашей милости, сударыня.

– Прости, милостивый государь, – ответила, несколько придя в себя, княгиня, и голос ее стал сух и резок. – Просьба такого кавалера – честь для нас немалая, да только ничего из этого не получится, ибо Елену обещала я уже другому.

– Однако подумай, сударыня, как заботливая опекунша, – не будет ли это против воли княжны и не лучше ли я того, кому ты ее, сударыня, обещала.

– Милостивый государь! Кто лучше, судить мне. Возможно, ты и лучше, да нам-то что, раз мы тебя не знаем.

На эти слова наместник выпрямился еще горделивей, а взгляды его сделались ножа острее, хотя и оставались холодными.

---

<sup>29</sup> Время бежит (*лат.*).

– Зато я знаю вас, негодяи! – рявкнул он. – Хотите кровную свою мужику отдать, лишь бы он вас в незаконно присвоенном имении оставил...

– Сам негодяй! – крикнула княгиня. – Так-то ты за гостеприимство платишь? Такую благодарность в сердце питаешь? Ах, змей! Каков! Откуда же ты такой взялся?

Молодые Курцевичи, прищелкивая пальцами, стали на стены, словно бы выбирая оружие, поглядывать, а наместник воскликнул:

– Нехристи! Прибрали к рукам сиротское достояние, но погодите! Князь про это уже завтра знать будет!

Услыхав такое, княгиня отступила в угол сеней и, схватив рогатину, пошла на наместника. Князя тоже, похватав кто что мог – саблю, кистень, нож, – окружили его полукольцом, дыша, как свора бешеных волков.

– Ко князю пойдешь? – закричала княгиня. – А уйдешь ли живым отсюда? А не последний ли это час твой?

Скшетуский скрестил на груди руки и бровью не повел.

– Я в качестве княжеского посла возвращаюсь из Крыма, – сказал он, – и ежели тут хоть одна капля крови моей будет пролита, то через три дня от места этого и пепла не останется, а вы в лубенских темницах сгниете. Есть ли на свете сила, какая бы вас могла спасти? Не грозитесь же, не испугаете!

– Пусть мы погибнем, но подохнешь и ты!

– Тогда бей! Вот грудь моя.

Князя, предводительствуемые матерью, продолжали держать клинки нацеленными в наместникову грудь, но видно было, что некие незримые узы не пускали их. Сопя и скрежеща зубами, Булуги дергались в бессильной ярости, однако удара никто не наносил. Сдерживало их страшное имя Вишневецкого.

Наместник был хозяином положения.

Бессильный гнев княгини обратился теперь в поток оскорблений:

– Проходимец! Мелюзга! Голодранец! С князьями породниться захотел, так ничего же ты не получишь! Любому, только не тебе, отдадим, в чем нам и князь твой не указчик!

На что пан Скшетуский:

– Не время мне свое родословие рассказывать, но полагаю, что ваше княжеское сиятельство преспокойно могло бы за ним щит с мечом таскать. К тому же, если мужик вам хорош, то уж я-то получше буду. Что же касается достатков моих, то и они могут с вашими поспорить, а если даром Елену мне отдавать не хотите, не беспокойтесь – я тоже вас оставлю в Разлогах, расчетов по опеке не требуя.

– Не дари тем, что не твое.

– Не дарю я, но обязательство на будущее даю и в том ручаюсь словом рыцарским. Так что выбирайте – или князю отчет по опеке представите и от Разлогов отступитесь, или мне Елену отдадите, а имение удержите...

Рогатина медленно выскользывала из княгининых рук и наконец со стуком упала на пол.

– Выбирайте! – повторил пан Скшетуский. – Aut pacem, aut bellum!<sup>30</sup>

– Счастье же, – несколько мягче сказала Курцевичиха, – что Богун с соколами уехал, не имея желания на ваших милостей глядеть; он уже вечер что-то заподозрил. Иначе без кровопролития не обошлось бы.

– Так ведь и я, сударыня, саблю не для того ношу, чтобы пояс оттягивала.

– Да разве гоже такому кавалеру, войдя по-доброму в дом, так на людей набрасываться и девуку, словно из неволи турецкой, силой отбирать.

– А отчего же нет, если она в неволе холопу должна быть продана?

---

<sup>30</sup> Или мир, или войну! (лат.)



– Такого, сударь, ты про Богуна не говори, ибо он хоть родства и не знает, но воин рожденный и рыцарь знаменитый, а нам с малолетства известен и как родной в доме. Ему девку не отдать или ножом ударить – одна боль.

– А мне, любезная сударыня, ехать пора, поэтому прощения прошу, но еще раз повторяю: выбирайте!

Княгиня обратилась к сыновьям:

– А что, сынки, скажете вы на столь покорнейшую просьбу любезного кавалера?

Бульги поглядывали друг на дружку, подталкивали один другого локтями и молчали.

Наконец Симеон буркнул:

– Велишь бить, м а т и, так будем, велишь отдать девку, так отдадим.

– Бить – худо и отдать – худо.

Потом, обратившись к Скшетускому, сказала:

– Ты, сударь, так нас прижал, что хоть лопни. Богун – человек бешеный и пойдет на все. Кто нас от его мести оборонит? Сам погибнет от князя, но сперва нас погубит. Как же мне быть?

– Ваше дело.

Княгиня какое-то время молчала.

– Слушай же, сударь-кавалер. Все это должно в тайне остаться. Богуна мы в Переяслав отправим, сами с Еленой в Лубны поедem, а ты, сударь, упросишь князя, чтобы он нам охрану в Разлоги прислал. У Богуна поблизости полтораста казаков, часть из них у нас на постое. Сейчас ты Елену взять не можешь, потому что он ее отобьет. Иначе оно быть не может. Поезжай же, никому не говоря ни слова, и жди нас.

– А вы обманете.

– Да кабы мы могли! Сам видишь, не можем. Дай слово, что секрет до времени сохранишь!

– Даю. А вы девку даете?

– Мы ж не можем не дать, хотя нам Богуна и жаль...

– Тьфу ты! Милостивые государи, – внезапно сказал наместник, обращаясь к князьям, – четверо вас, аки дубы могучих, а одного казака испугались и коварством его провести хотите. Хоть я вас и благодарить должен, однако скажу: не годится достойной шляхте так жить!

– Ты, ваша милость, в это не мешайся, – крикнула княгиня. – Не твое это дело. Как нам быть-то прикажешь? Сколько у тебя, сударь, жолнеров против полтораста его казаков? Защитишь ли нас? Защитишь ли хоть Елену, которую он силой умыкнуть готов? Не твоей милости это дело. Поезжай себе в Лубны, а что мы станем делать – это знать нам, лишь бы мы тебе Елену доставили.

– Поступайте, как хотите. Одно только скажу: если тут княжне какая кривда будет – горе вам!

– Не говори же с нами так, не выводи ты нас из себя.

– А не вы ли над нею насилие учинить хотели, да и теперь, продавая ее за Разлоги, вам и в голову не пришло спросить – будет ли ей по сердцу моя персона?

– Вот и спросим при тебе, – сказала княгиня, сдерживая закипавший снова гнев, ибо отлично улавливала презрение в словах наместника.

Симеон пошел за Еленой и спустя некоторое время с нею вернулся.

Среди громов и угроз, которые, точно отзвуки стихающей бури, казалось, сотрясали еще воздух, среди насупленных этих бровей, яростных взглядов и суровых лиц прелестный облик девушки воссиял, словно солнце после бури.

– Сударыня-панна! – хмуро сказала ей княгиня, указывая на Скшетуского. – Ежели будет к тому твоя охота, то вот он, твой будущий муж.

Елена побелела как мел, с криком закрыла глаза руками, а потом внезапно протянула ладони к Скшетускому.

– Правда ли? – шепнула она в упоении.

Час спустя эскорт посла и отряд наместника неспешно шли лесною дорогой по направлению к Лубнам. Скшетуский с паном Лонгином Подбипяткой ехали в челе, за ними долгою вереницею тянулись посольские повозки. Наместник вовсе был погружен в печаль и размышления, когда вырвали его вдруг из раздумий оборвавшиеся слова песни:

Тужу, тужу, сердце болить...

В глубине леса на узкой наезженной крестьянами тропке показался Богун. Конь его был в мыле и грязи.

Видно, казак по привычке своей пустился в степи и чащобы, захмелеть от ветра, затеяться да забыться в просторах и то, отчего душа болела, переболеть.

Теперь он возвращался в Разлоги.

Глядя на великолепную эту, поистине рыцарскую фигуру, мелькнувшую вдалеке и сразу же пропавшую, пан Скшетуский на миг задумался и пробормотал:

– Да уж... счастье, что он кого-то на ее глазах располовинил...

Но тут словно бы сожаление стиснуло сердце, словно бы стало ему Богуна жаль, но еще более пожалел он, что, связанный данным княгине словом, не мог сразу же, не мешкая погнать коня вслед казаку и сказать: «Мы любим одну, а значит, один из нас на свете лишний! Доставай, казаче, саблю!»

## Глава V

Прибывши в Лубны, пан Скшетуский князя не застал, так как тот к пану Суффчинскому, старому своему дворянину, в Сенчу уехал. С князем отбыли княгиня, обе панны Збаражские и множество особ, состоявших при дворе. В Сенчу немедленно дано было знать о возвращении наместника из Крыма и прибытии посла. Между тем знакомые и сотоварищи радостно приветствовали Скшетуского после долгой разлуки, а более других пан Володыёвский, который после их очередного поединка сделался самым близким другом наместнику. Кавалер сей отличался тем, что постоянно бывал влюблен. Убедившись в коварстве Ануси Борзобогатой, он обратил свое нежное сердце к Анеле Ленской, тоже панне из фрауциммера, но, когда и она буквально месяц назад обвенчалась с паном Станишевским, Володыёвский, чтобы утешиться, принялся вздыхать по старшей княжне Збаражской – Анне, племяннице князя Вишневецкого.

Увы, он и сам понимал, что, столь высоко замахнувшись, не мог и малейшей питать надежды, тем более что от имени пана Пшиемского, сына ленчицкого воеводы, уже заявили сватать княжну пан Бодзинский и пан Ляссота. Поэтому злосчастный Володыёвский сообщил нашему наместнику новые свои огорчения, посвящая его в придворные дела и тайны, что последний выслушивал краем уха, имея мысль и сердце занятые другим. Когда бы не душевное смятение это, любви, хоть и взаимной, всегда сопутствующее, Скшетуский был бы совершенно счастлив, после долгой отлучки вернувшись в Лубны, где его окружили друзья и кутерьма привычной с давних лет солдатской жизни. Лубны, будучи княжеским замком-резиденцией и великолепием своим не уступая любым резиденциям «королят», отличались все же тем, что житье здесь было суровым, почти походным. Кто не знал здешних порядков и обычаев, тот, приехав даже в наиспокойнейшую пору, мог подумать, что тут к какой-то военной кампании готовятся. Солдат преобладал здесь числом над дворянином, железо предпочиталось золоту, голос бивачных труб – шуму пиров и увеселений. Повсюду царил образцовый порядок и неведомая нигде более дисциплина; повсюду не счесть было рыцарства, приписанного к различным хоругвям: панцирным, драгунским, казацким, татарским и валашским, в которых служило не только Заднепровье, но и охочекомонная шляхта со всех концов Речи Посполитой. Всяк стремившийся пройти науку в подлинно рыцарской школе влекся в Лубны; так что наряду с русинами были тут и мазуры, и литва, и малопольяне, и даже – что совсем уж удивительно – пруссаки. Пехотные регименты и артиллерия, иначе называемая «огневой люд», сформированы были в основном из опытейших немцев, нанятых за высокое жалованье; в драгунах служили, как правило, местные. Литва – в татарских хоругвях. Малопольяне записывались охотнее всего под панцирные знамена. Князь не давал рыцарству бездельничать; в лагере не прекращалось постоянное движение. Одни полки уходили сменить гарнизоны в крепостцы и заставы, другие возвращались в Лубны; целыми днями проводились учения и муштра. Время от времени, хотя от татар беспокойства не ожидалось, князь предпринимал далекие вылазки в глухие степи и пустыни, чтобы приучить солдат к походам и, добравшись туда, куда до сих пор никто не добирался, разнести славу имени своего. В прошлую осень, к примеру, идучи левым берегом Днепра, пришел он до самого Кудака, где пан Гродзицкий, начальник тамошнего гарнизона, принимал его, как удельного монарха; потом пошел вдоль порогов до самой Хортицы, а на Кичкасовом урочище велел груды огромную из камней насыпать в память и в знак того, что этой дорогою ни один еще властелин не забирался столь далеко.<sup>31</sup>

Пан Богуслав Маскевич, жолнер добрый, хотя в молодых годах, к тому же и человек ученый, описавший, как и прочие княжеские походы, предприятие это, рассказывал о нем дива дивные, а пан Володыёвский незамедлительно все подтверждал, ибо тоже ходил с ними. Пови-

<sup>31</sup> Это слова Маскевича, который мог не знать о пребывании на Сечи Самуэля Зборовского. – *Примеч. автора.*

дали они пороги и поражались им, особенно же страшному Ненасытцу, который всякий год, как некогда Сцилла и Харибда, по несколько десятков человек пожирал. Потом повернули на восток, в степные гари, где из-за недогарков конница ступить даже не могла, так что приходилось лошадям ноги кожами обматывать. Видали они там множество гадов-желтобрюхов и огромных змей-полозов длиною в десять локтей и толщиной с мужскую руку. По дороге вырезали они на одиноких дубах pro aeterna rei memoria<sup>32</sup> княжеские гербы и наконец достигли такой глуши, где нельзя было приметить и следов человеческих.

– Я даже подумывал, – рассказывал ученый пан Маскевич, – что нам в конце концов, как Улиссу, и в Гадес сойти придется.

На что пан Володыёвский:

– Уже и люди из хоругви пана стражника Замойского, которая шла в авангарде, клялись, что видели те самые fines<sup>33</sup>, на каковых orbis terrarum<sup>34</sup> кончается.

Наместник, в свою очередь, рассказывал товарищам про Крым, где пробыл почти полгода в ожидании ответа его милости хана, про тамошние города, с древних времен существующие, про татар, про их военную силу и, наконец, про страх, в каковой они впали, узнав о решающем походе на Крым, в котором все силы Речи Посполитой должны будут участвовать.

Так проводили они в разговорах вечера, ожидая князя; еще наместник представил близким друзьям пана Лонгина Подбиятку, который, как человек приятнейший, сразу пришелся всем по сердцу, а показавши во владении мечом сверхчеловеческую силу свою, завоевал всеобщее уважение. Кое-кому рассказал уже литвин и о предке Стowejке, и о трех срубленных головах, единственно насчет своего обета умолчав, ибо не хотел сделаться объектом шуток. Особенно подружились они с Володыёвским по причине, как видно, схожей сердечной чувствительности; уже спустя несколько дней ходили они вместе вздыхать на вал – один по поводу звездочки, мерцавшей слишком высоко, и потому недостижимой, alias<sup>35</sup> по княжне Анне, второй – по незнакомке, от которой отделяли его три обетованные головы.

Звал даже Володыёвский пана Лонгина в драгуны, но литвин бесповоротно решил записаться в панцирные, чтобы служить под Скшетуским, не без удовольствия узнав в Лубнах, что тот считается рыцарем без страха и упрека и одним из лучших княжеских офицеров. К тому же в хоругви, где пан Скшетуский был поручиком, открывалась ваканция после пана Закревского, прозванного «Miserere mei»<sup>36</sup>, который вот уже две недели тяжело болел и был безнадежен, ибо от сырости все раны его пооткрывались. Так что к сердечной тоске наместника добавилась еще печаль по поводу предстоящей потери старого товарища и многоопытного друга, и по несколько часов в день Скшетуский ни на шаг не отходил от больного, утешая беднягу и вселяя в него надежду, что не в одном еще походе повоюют они.

Но старик в утешениях не нуждался. Он весело умирал на жестком рыцарском ложе, обтянутом лошадиною шкурою, и с почти детской улыбкой глядел на распятие, висевшее на стене. Скшетускому же отвечал:

– Miserere mei, ваша милость поручик, а я пойду себе по свой небесный кошт. Тело мое уж очень от ран дырявое, и опасаясь я, что святой Петр, каковой является маршалом Божиим и за благолепием в небесах приглядывать обязан, не пустит меня в столь дырявой оболочке в рай. Но я скажу: «Святой Петруня! Заклинаю тебя ухом Малховым не отвращаться, ведь это же поганые испортили мне одежду телесную... Miserere mei! А ежели будет какой поход святого Михаила на адское воинство, так старый Закревский еще пригодится!»

<sup>32</sup> вечной памяти ради (лат.).

<sup>33</sup> рубежи (лат.).

<sup>34</sup> круг земель (лат.).

<sup>35</sup> сиречь (лат.).

<sup>36</sup> «Помилуй мя» (лат.).

Вот почему поручик, хотя, будучи солдатом, много раз и сам смерть видел, и бывал причиною чужой смерти, не мог сдержать слез, слушая старика, кончина которого была подобна тихому солнечному закату.

И вот как-то поутру колокола всех лубенских костелов и церквей возвестили о смерти Закревского. Как раз в этот день приехал из Сенчи князь, а с ним господа Бодзинский, Лясота, весь двор и множество шляхты в нескольких десятках карет, так как съезд у пана Суффчинского был немалый. Князь, желая отметить заслуги покойного и показать, сколь ценит он людей рыцарского склада, устроил пышные похороны. В траурном шествии участвовали все полки, стоявшие в Лубнах, на валу палили из ручных пищалей и мушкетов. Кавалерия шла по городу от замка до приходского костела в боевом строю, но с зачехленными знаменами; за нею, держа ружья дулами вниз, следовали пехотные полки. Князь в трауре ехал за гробом в золоченой карете, запряженной осьмериком белых как снег лошадей с выкрашенными в пунцовый цвет гривами и хвостами и с пучками черных страусовых перьев на макушках. Впереди кареты следовал отряд янычар – личная охрана князя, а позади на превосходных лошадях – пажи, одетые на испанский манер; за ними высокие придворные сановники, стремянные дворяне, камердинеры, наконец, гайдуки и выездные лакеи. Процессия остановилась сперва у дверей приходского костела, где ксендз Яскульский встретил гроб речью, начинавшейся: «Куда ты уходишь от нас, досточтимый Закревский?» Потом сказали прощальные слова некоторые из присутствующих, а среди них и Скшетуский, как начальник и друг покойного. Затем гроб внесли в костел и тут наконец произнес речь златоуст из златоустов, ксендз-иезуит Муховецкий, говоривший столь возвышенно и красиво, что сам князь прослезился, ибо был повелитель с весьма отзывчивым сердцем и отец солдатам. Дисциплины спрашивал он железной, но в щедрости, ласковом отношении к людям и благорасположении, которыми дарил не только солдат своих, но и жен их с детьми, с ним никто не мог равняться. К бунтарям грозный и безжалостный, был он истинным благодетелем не только шляхте, но и всем своим подданным. Когда о сорок шестом годе саранча поела урожай, он за целый год спустил чиншевикам уплату чинша, народу же распорядился выдавать зерно из закромов, а после хорольского пожара всех горожан два месяца содержал на свой счет. Арендаторы и подстаросты в экономиях трепетали, как бы до княжеских ушей не дошли жалобы о каких-либо злоупотреблениях или обидах, народу чинимых. Сиротам обеспечивалось такое попечение, что на Заднепровье называли их «княжьими дитынами». За этим присмотр осуществляла сама княгиня Гризельда, имея в помощниках отца Муховецкого. И царили по всем княжьим уделам достаток, лад, справедливость, спокойствие, но и страх тоже, ибо довольно было малейшего неповиновения, и князь не знал удержу в гневе и наказаниях; так в натуре его сочетались великодушие с суровостью. А в те времена и в тех краях подобная суровость только и давала возможность житью и усердию человеческому укореняться и пускать побеги, только благодаря ей возникали города и села, хлебопашец одерживал верх над грабителем, купец безмятежно вел свою торговлю, колокола мирно созывали верующих на молитву, враг не смел нарушить рубежа, разбойные шайки или гибли на колах, или преображались в регулярных солдат, а пустынный край процветал.

Дикой земле и диким обитателям ее именно такая рука и была нужна, ведь с Украйны на Заднепровье тянулся самый беспокойный народ: шли поселенцы, привлекаемые наделом и тучностью земли, беглые крестьяне со всех концов Речи Посполитой, преступники, сбежавшие из узилищ, словом, как сказал бы Ливий: «*Pastorum convenarumque plebs transfuga ex suis populis*»<sup>37</sup>. Держать их в узде, превратить в мирных поселенцев и привить вкус к оседлой жизни только и мог такой лев, от рыка которого всё трепетало.

Пан Лонгинус Подбипятка, впервые в жизни князя на похоронах увидав, собственным глазам не поверил. Будучи столько наслышан о его славе, он воображал князя неким испо-

<sup>37</sup> «Толпы пастухов и всякого сброда, перебежчиков из своих племен» (лат.).

лином, статью обыкновенных людей превосходящим, а князь оказался роста скорее низкого и довольно худощав. Он был еще молод, будучи всего-навсего тридцати шести лет, однако на лице его уже лежал отпечаток ратных трудов. Насколько в Лубнах жил он по-королевски, настолько во время частых вылазок и походов делил невзгоды простого солдата: ел черный хлеб и спал, постлав на земле войлок; и если большая часть жизни его проходила именно в ратных трудах, то они и отразились на его облике. Во всяком случае, с первого взгляда было ясно, что это внешность человека исключительного. В ней чувствовались железная, нестигаемая воля и величие, перед которым всякий невольно вынужден был склонить голову. Ясно было, что человек этот знает и свою силу, и свое величие, и, возложив завтра на него корону, он не удивится и не согнется под ее тяжестью. Глаза у князя были большие, спокойные, можно даже сказать, приятные, но казалось, что дремлют в них громы, и всякий знал – горе тем, кто эти громы разбудит. Между прочим, никто не мог выдержать спокойный блеск этого взгляда, и, случалось, послы или бывалые придворные, явившись пред очи Иеремии, терялись и затруднялись слово сказать. И был он на своем Заднепровье подлинным королем. Из канцелярии его шли привилегии и жалованные грамоты: «Мы, Божьей милостию князь и господин», и т. д. Немногих тоже и воевод ясновельможных полагал он равными себе. Князья, происходившие от старинных могущественных родов, служили у него в маршалках. Взять хотя бы отца Елены, Василя Булыгу-Курцевича, родословная которого, как поминалось выше, велась от Кориата, а на самом деле от самого Рюрика.

Было в князе Иеремии что-то, что, несмотря на свойственную ему доброжелательность, заставляло людей оставаться на расстоянии. Расположенный всем сердцем к солдатам, он держал себя с ними совершенно по-свойски, с ним же фамильярничать никто не смел. И тем не менее рыцарство, прикажи он кинуться верхом с днепровских круч, сделало бы это, не раздумывая.

От матери-валашки унаследовал он белокожесть, схожую с белизной раскаленного железа, пышущего жаром, и черные, цвета воронова крыла, волосы, которые, по всей почти голове обритые, буйно устремлялись на чело и, остриженные над бровями, наполовину лоб закрывали. Одевался он в польский костюм, но об одежде не очень заботился и лишь по большим праздникам облачался в богатое платье, весь тогда сверкая золотом и драгоценностями. Пан Лонгин несколькими днями позже присутствовал на подобном торжестве. Князь принимал господина Розвана Урсу. Посольские аудиенции происходили всегда в так называемой голубой зале, так как на потолке ее свод небесный купно со звездами кистью гданыщанина Хелма был изображен. Князь, как обычно в таких случаях, восседал под балдахином из бархата и горностаев на высоком, напоминающем трон, стуле, подножье которого было оковано позолоченным металлом. Позади князя стояли ксендз Муховецкий, секретарь, маршалок князь Воронич, пан Богуслав Маскевич, а затем пажи и двенадцать одетых на испанский манер драбантов с алебардами; зала же была переполнена рыцарством в роскошных одеждах и уборах. Господин Розван от имени господаря просил князя влиянием своим и наводящим страх именем добиться от хана запрещения буджацким татарам учинять набеги на Валахию, которыми они каждый год ужасный урон и опустошения причиняли; на что князь ответил на превосходной латыни, что буджаки, мол, не очень-то и самому хану послушны, но все-таки, поскольку в апреле ожидается Чауш-мурза, ханский посол, то через него и будет передан хану соответствующий запрос касательно валашских обид. Пан Скшетуский предварительно уже сделал реляцию о своем посольстве и путешествии, а также обо всем, что слышал о Хмельницком и бегстве последнего на Сечь. Князь принял решение перевести несколько полков поближе к Кудак, но особого значения делу этому не придал. А раз ничто, казалось, не угрожало покою и могуществу заднепровской державы, в Лубнах начались празднества и увеселения как в честь пребывания посла Розвана, так и по случаю того, что господа Бодзинский и Ляссота торжественно попросили от

имени воеводского сына Пшиемского руку старшей княжны Анны, на какую просьбу получили и от князя, и от княгини Гризельды ответ благоприятный.

Один лишь не вышедший ростом Володыёвский страдал среди всеобщего оживления, а когда Скшетуский попытался ободрить его, ответил:

– Тебе хорошо! Стоит тебе захотеть, и Ануся Борзобогатая тут как тут будет. Уж она очень благосклонно тебя все время вспоминала; я подумал было, чтобы ревность в Быховце *excitare*<sup>38</sup>, но теперь вижу, что его задумала она до петли довести и только к тебе одному, пожалуй, нежный в сердце сентимент питает.

– Да при чем тут Ануся! Можешь за ней снова ухаживать – *non prohibeo*<sup>39</sup>. Но о княжне Анне и думать забудь, ибо это все равно, что жар-птицу в гнезде шапкой накрыть.

– Ох, знаю, знаю, что она жар-птица, и от горести поэтому умереть мне, как видно, суждено.

– Ничего, выживешь и тотчас влюбишься; только в княжну Барбару не вздумай, потому что у тебя из-под носа ее другой воеводич утащит.

– Ужели сердце – казачок, которому приказывать можно? Ужели очам запретишь созерцать столь дивное создание, княжну Барбару, вид которой даже зверя дикого взволновать способен?

– Вот те на! – воскликнул пан Скшетуский. – Вижу я, что ты и без моих советов утешься, но повторяю: вернись к Анусе, ибо с моей стороны никаких помех не будет.

Ануся о Володыёвском, однако, не думала. Зато интриговало, дразнило и злило Анусю равнодушие пана Скшетуского, который, возвратившись после столь долгой отлучки, даже и не взглянул на нее. Поэтому по вечерам, когда князь с приближенными офицерами и дворянами приходил в гостиную княгини развлечься беседой, Ануся, выглядывая из-за спины своей госпожи (княгиня была высокая, а она махонькая), сверлила черными своими глазами наместника, пытаясь угадать причину. Однако взор Скшетуского, а также и мысли пребывали невесте где, а если взгляд его и обращался к девушке, то такой задумчивый и отсутствующий, словно бы поручик глядел не на ту, которой в свое время пел:

Ты жесточе, чем орда,  
Corda полонишь всегда!..

«Что с ним?» – спрашивала себя избалованная вниманием любимица всего двора и, топнув маленькой ножкою, принимала решение в этом деле разобраться. Если говорить по совести, в Скшетуского она влюблена не была, однако, привыкнув к поклонению, не могла вынести равнодушия к своей особе и от злости готова была сама влюбиться в нахала.

И вот однажды, спеша с мотками пряжи к княгине, она столкнулась со Скшетуским, выходившим из расположенной рядом спальни князя. Ануся налетела, как вихрь, можно даже сказать – задела его грудью и, сделав поспешный шаг назад, воскликнула:

– Ах! Вы так меня испугали! Здравствуйте, сударь!

– Здравствуйте, панна Анна! Неужели же я такое *monstrum*<sup>40</sup> и людей пугаю?

Девушка, теребя пальцами свободной руки косу и переступая с ножки на ножку, опустила глаза и, словно бы растерявшись, с улыбкой ответила:

– Ой нет! Это уж нет... вовсе нет... клянусь матушкиным здоровьем!

И она быстро глянула на поручика, но тотчас же опять опустила глаза.

– Может быть, сударь, ты гневаешься на меня?

---

<sup>38</sup> возбудить (*лат.*).

<sup>39</sup> не возбраняю (*лат.*).

<sup>40</sup> чудовище (*лат.*).

– Я? А разве панну Анну мой гнев заботит?

– Заботит? Ну нет! Тоже мне забота! Уж не полагаешь ли ты, сударь, что я плакать стану?

Пан Быховец куда любезнее...

– Когда так, мне остается только уступить поле боя пану Быховцу и исчезнуть с глаз долой.

– А я разве держу?

И Ануся загородила ему дорогу.

– Так ты, сударь, из Крыма вернулся? – спросила она.

– Из Крыма.

– А что ты, ваша милость, оттуда привез?

– Пана Подбиятку. Разве панна Анна его не видела? Очень приятный и достойный кавалер.

– Уж наверняка приятнее вашей милости. А зачем он сюда приехал?

– Чтобы панне Анне было на ком чары испытывать. Но я советую браться за дело всерьез, ибо знаю нечто, из-за чего кавалер сей неприступен, и даже панна Анна с носом останется.

– Отчего же это он неприступен?

– Оттого, что не имеет права жениться.

– Да мне что за дело? А отчего он не имеет права жениться?

Скшетуский наклонился к уху девушки, но сказал очень громко и четко:

– Оттого, что поклялся оставаться в непорочности.

– Вот и неумно, сударь! – воскликнула Ануся и мгновенно упорхнула, словно испуганная птичка.

Однако уже вечером она впервые внимательно пригляделась к пану Лонгину. Гостей в тот день собралось немало, поскольку князь устраивал прощальный прием пану Бодзинскому. Наш литвин, тщательно одетый в белый атласный жупан и темно-голубой бархатный кунтуш, выглядел очень внушительно, тем более что у бедра его вместо палаческого Сорвиглавца висела легкая кривая сабля в золоченых ножнах.

Глазки Ануси назло Скшетускому умышленно поглядывали на пана Лонгина. Наместник бы и не заметил этого, если б Володыёвский не толкнул его локтем и не сказал:

– Попадись я татарам, если Ануся не заигрывает с хмелевой литовской подпоркой.

– А ты ему скажи про это.

– И скажу. Подходящая из них пара.

– Он ее вместо шпильки на жупане приспособит, в самый раз придется.

– Или вместо кисточки на шапке.

Володыёвский подошел к литвину.

– Сударь! – сказал он. – Ты, ваша милость, к нам недавно, а повеса каких поискать.

– Как так, благодетель братушка? Отчего ж?

– Оттого, что лучшей девке из фрауциммера голову вскружил.

– Сударик мой! – сказал Подбиятка, сложив руки. – Что это ты такое говоришь?

– А ты погляди, как панна Анна Борзобогатая, в которую мы тут все влюблены, за вашей милостью глазками стреляет. Ой, берегись, чтобы она тебя в дураках, как всех нас, не оставила.

Сказав это, Володыёвский повернулся на каблуках и ушел, повергнув пана Лонгина в недоумение. Тот сперва не отваживался и поглядеть в сторону Ануси, но спустя некоторое время, как бы невзначай глянув, прямо-таки оторопел. И в самом деле – из-за плеча княгини Гризельды пара горящих глазок глядела на него с любопытством и настойчивостью. «Apage, satanas!»<sup>41</sup> – подумал литвин и, покрывшись, как школяр, румянцем, ретировался в другой конец залы.

---

<sup>41</sup> «Отыди, сатана!» (греч.)



Искушение, однако, было велико. Бесенок, выглядывавший из-за княгининой спины, являл собою такой соблазн, глазки так светло сияли, что пана Лонгина словно бы что-то толкало еще разок заглянуть в них. Но тут он вспомнил свой обет, взору его предстал Сорвиглавец, предок Стовейко Подбипятка, три отсеченные головы, и ужас охватил его. Он перекрестился и в тот вечер ни разу больше не глянул.

Зато утром следующего дня он пришел на квартиру к Скшетускому.

– Сударь наместник, а скоро ли мы выступаем? Не слышно ли, ваша милость, чего о баталии?

– Что за спех такой? Потерпи, сударь, еще ведь и в часть не записался.

И в самом деле, пан Подбипятка не был пока зачислен на место покойного Закревского. Надо было дожидаться, когда истечет квартал, что имело наступить лишь к первому апреля.

Тем не менее спех у него какой-то был, поэтому он расспросы продолжил:

– И никак светлейший князь насчет предмета этого не высказывался?

– Никак. Король вроде бы до конца дней своих не перестанет о войне думать, но Речь Посполитая ее не хочет.

– А в Чигирине поговаривали, что смута казацкая нам грозит.

– Вижу я, зарок твой житья тебе не дает. Что же касается смуты, то ее до весны не будет, ибо хоть зима и теплая, но зима есть зима. Сейчас только пятнадцатое february<sup>42</sup>, в любой день морозы могут ударить, а казак в поле не пойдет, если окопаться не сможет, потому как за валом сражаются они превосходно, а в поле у них похуже получается.

– Значит, и казаков ждать придется?

– Однако прими во внимание и то, что даже если и найдешь ты во время бунта три подходящих головы, неизвестно, освободишься ли от залога, ведь одно дело крыжак или турок, а другое дело свои, можно сказать, дети eiusdem matris.<sup>43</sup>

– О Боже праведный! Ой, ты ж мне, ваша милость, задачу задал! От беда-то! Так пускай же мне ксендз Муховецкий томления эти разрешит, а то не будет мне иначе ни минуты покою.

– Разрешит-то он разрешит, ибо человек ученый и в вере крепкий, да только наверняка ничего нового не скажет. Bellum civile<sup>44</sup> есть война братьев.

– А ежели смутьянам чужое войско на подмогу придет?

– Тогда действуй. А сейчас я могу посоветовать только одно: жди и сохраняй терпение.

Увы, вряд ли сам пан Скшетуский мог последовать своему совету. Его охватывала все большая тоска, ему наскучили и придворные празднества, и даже лица, прежде столь милые его сердцу. Господа Бодзинский, Ляссота и господин Розван Урсу наконец отбыли, и после их отъезда наступило полное затишье. Жизнь потекла однообразно. Князь был занят ревизией несметного имущества своего и каждое утро запирался с комиссарами, съезжавшимися со всей Руси и Сандомирского воеводства. Так что и учения происходили редко когда. Шумные офицерские пирушки, на которых только и было разговору что о будущих походах, несказанно наскучили Скшетускому, поэтому с нарезным ружьем на плече уходил он на берег Солоницы, где некогда Жолкевский столь беспощадно Наливайку, Лободу и Кремпского разгромил. Следы давней битвы стерлись уже и в памяти человеческой, и на месте самого сражения. Разве что иногда земля извергала из недр своих побелевшие кости да за рекою виднелся вал, насыпанный казаками, за которым так отчаянно оборонялись запорожцы Лободы и Наливайкова вольница. Но и на валу уже густо поднялись заросли. Здесь прятался Скшетуский от придворной суеты и, вместо того чтобы стрелять дичь, предавался воспоминаниям; здесь внутреннему

---

<sup>42</sup> февраля (лат.).

<sup>43</sup> той же самой матери (лат.).

<sup>44</sup> Гражданская война (лат.).

взору его души являлся вызываемый памятью и сердцем образ любимой; здесь, в шуме камышовых зарослей и в унылой задумчивости округи развеивал он тоску свою.

Но потом пошли обильные, предварявшие весну дожди. Солоница сделалась топью, из дому нельзя было и носа высунуть, так что наместник и того утешения, какое находил в одиноких прогулках, лишился. Между тем тревога его росла, и не без оснований. Сперва он полагал, что Курцевичиха с Еленой, если княгине удастся отослать Богуна, сразу же приедут в Лубны, но теперь и эта надежда угасла. От дождей испортились дороги, степь на несколько верст по обоим берегам Сулы стояла огромной непреодолимой трясиной, и оставалось ждать, когда весеннее жаркое солнце испарит влагу и сырость. Все это время Елена вынуждена была находиться под призором, которому Скшетуский не доверял, среди людей неотесанных, диких нравом и неприязненно настроенных к Скшетускому. Правда, ради собственного блага они не станут нарушать слово, так как выхода у них нету; но кто мог знать, что взбредет им в голову, на что они отважатся, а тем более под нажимом грозного атамана, которого, как видно, они и любили, и наверняка боялись. Он легко мог заставить их отдать девушку; подобные случаи были нередки. Именно так сотоварищ несчастного Наливайки Лобода в свое время заставил пани Поплинскую отдать ему в жены воспитанницу, хотя девушка была родовитой шляхтянкою и всей душой атамана ненавидела. А если то, что рассказывали о несметных богатствах Богуна, было правдой, мог он им и за девушку, и за потерю Разлогов заплатить. А потом что? «Потом, – думал пан Скшетуский, – мне глумливо сообщат, что «дело сделано», а сами сбегут куда-нибудь в литовские или мазовецкие пущи, где до них даже могучая княжеская рука не достигнет». От подобных мыслей Скшетуского трясло как в лихорадке, он рвался, точно волк на цепи, сожалел, что связал себя рыцарским словом, и не знал, как поступить. А был он человеком, неохотно позволявшим случаю властвовать над собой. Натуре его свойственны были предприимчивость и энергичность. Он не ждал подношений от судьбы, но предпочитал брать судьбу за ворот, принуждая ее складываться счастливо, – так что было ему труднее, чем кому-либо другому, сидеть в Лубнах сложа руки.

И он решил действовать. Был у него в услужении Редзян, мелкопоместный шляхтич из Подлясья, шестнадцати лет, плут каких поискать, с которым никто из людей бывалых в сравнение идти не мог; его-то Скшетуский и решил послать к Елене, чтобы разнюхал, что и как. Уже кончился февраль, дожди прекратились, март обещал быть погожим, и дороги должны были несколько подсохнуть. Так что Редзян готовился в путь. Скшетуский снабдил его письмом, бумагой, перьями и склянкой чернил, которые велел беречь пуще глаза, так как помнил, что этого товара в Разлогах не найти. Парнишке было велено, чтобы не открывался, от кого приехал, чтобы говорил, что в Чигирин направляется, а сам внимательно бы ко всему приглядывался и, главное, хорошенько разузнал бы все про Богуна – где, мол, тот находится и что подделывает. Редзяну дважды повторять было не надо, он сдвинул шапку набекрень, свистнул нагайкой и поехал.

Для пана Скшетуского потянулись долгие дни ожидания. Чтобы как-то убить время, он рубился и фехтовал на палках с паном Володыёвским, великим мастером этого дела, или метал в перстень джирид. Еще случилось в Лубнах происшествие, чуть не стоившее наместнику жизни. А было так: медведь, сорвавшись на замковом подворье с цепи, цапнул двух конюших, испугал лошадей пана комиссара Хлебовского, а потом кинулся на наместника, который как раз направлялся из цейхгауза к князю, будучи без сабли, а при себе имея только легкий чекан с медным оголовьем. Не избежать бы наместнику верной гибели, когда б не пан Лонгин, который, увидев из цейхгауза, что происходит, схватил свой Сорвиглавец и прибежал на помощь. Пан Лонгин безусловно оказался достойным потомком предка Стowejки, ибо на глазах у всего двора одним махом отхватил медведю башку вместе с лапой, каковому доказательству необычайной силы удивлялся из окна сам князь, пригласивший затем пана Лонгина в покои княгини, где Ануса Борзобогатая так искушала того своими глазками, что назавтра литвин вынужден

был пойти к исповеди, а в последующие три дня в замке не показывался, поскольку горячей молитвой отгонял все соблазны.

Прошло дней десять, а Редзян не возвращался. Наш пан Ян от ожидания сильно похудел и столь потемнел с лица, что Ануся пыталась даже разузнать через посредников, что с ним стряслось, а Карбони, доктор княжеский, прописал ему какое-то снадобье от меланхолии. Но иное снадобье было ему нужно, ибо день и ночь думал он о своей княжне, все отчетливей понимая, что не каким-то пустым чувством переполнено его сердце, а великою любовью, которая должна быть удовлетворена, иначе грудь человеческая, как хрупкий сосуд, разорваться может.

Легко себе представить радость пана Яна, когда в один прекрасный день спозаранку на его квартиру явился Редзян, перемазанный, усталый, исхудавший, но веселый и с написанною на лице доброй вестью. Наместник как вскочил с постели, так, подбежавши к нему, схватил его за плечи и воскликнул:

– Письма есть?

– Есть, пане. Вот они.

Наместник выхватил письмо и стал читать. Все эти долгие дни он сомневался, привезет ли ему даже при благоприятнейших обстоятельствах Редзян письмо, потому что не знал, умеет ли Елена писать. Украинный прекрасный пол ничему не учился, а Елена воспитывалась к тому же среди людей темных. Однако еще отец, вероятно, обучил ее этому искусству, ибо начертала она большое письмо на четырех страницах. Правда, не умея выразиться пышно и риторически, бедняжка написала от чистого сердца следующее:

«Уж я вас никогда не позабуду, скорее вы меня прежде, потому как слыхала я, что попадают между вас ветреники. Но раз ты пажика нарочно за столько миль прислал, то, видно, любя я тебе, как и ты мне, за что сердцем благодарным и благодарю. Не подумай тоже, сударь, что это будет противу скромности моей, так тебе об этой любви писать, но ведь лучше уж правду сказать, чем солгать или скрытничать, раз на самом деле в сердце другое. Выспрашивала я еще его милость Редзяна, что ты в Лубнах поделываешь и каковы великодворские обычаи, а когда он мне о красе и дородстве тамошних дам рассказывал, я прямо слезами от большой печали залилася...»

Тут наместник прервал чтение и спросил Редзяна:

– Что же это ты, дурень, рассказывал?

– Все как надо, пане! – ответил Редзян.

Наместник продолжал читать:

«...ибо куда мне, деревенской, равняться с ними. Но сказал мне еще пажик, что ты, ваша милость, ни на какую и глядеть не хочешь...»

– Вот это хорошо сказал! – заметил наместник.

Редзян, по правде говоря, не знал, о чем речь, так как наместник читал письмо не вслух, но сделал умное лицо и значительно кашлянул. Скетуский же читал далее:

«...и сразу я утешилась, моля Бога, чтобы он и далее тебя в таковом благорасположении ко мне удерживал и обоих нас благословил, аминь. Я уж так по вашей милости соскучилась, как по отцу-матери, ведь мне, сироте, грустно на свете, но не с тобою, сударь... Бог видит, что сердце мое чисто, а простоту мою не осуждай, ты мне ее простить должен...»

Далее прелестная княжна сообщала, что выедут они с теткой в Лубны, как только дороги станут получше, и что сама княгиня хочет отъезд ускорить, поскольку из Чигирина доходят вести о каких-то казацких смутах, так что она ждет лишь возвращения молодых князей, которые в Богуслав на конскую ярмарку поехали.

«Ты колдун прямо настоящий, – писала далее Елена, – раз даже и тетку на свою сторону привлечь сумел...»

Наместник усмехнулся, вспомнив колдовство, склонившее на его сторону эту самую тетку. А письмо кончалось уверениями в вечной и верной любви, какую будущая жена к буду-

щему мужу питать обязана, и видно было, что писалось оно действительно от чистого сердца, поэтому, наверно, наместник читал письмо от начала и до конца раз десять, повторяя в глубине души: «Девушка моя ненаглядная! Пускай же и Господь меня покинет, ежели я оставлю тебя когда-нибудь».

Потом стал он расспрашивать Редзяна.

Бойкий слуга сделал подробный отчет о поездке. Принимали его учтиво. Старая княгиня выпрашивала его про наместника, а узнавши, что Скшетуский – рыцарь первейший и доверенный у князя, да к тому же и человек состоятельный, вовсе обрадовалась.

– Она меня еще спрашивала, – сказал Редзян, – всегда ли его милость слово держит, если что обещает, а я ей на это: «Милостивая государыня! Ежели бы этот конек, на котором я приехал, был бы мне обещан, я б не сомневался, что он моим будет...»

– Ай, плут! – сказал наместник. – Но раз уж ты так за меня поручился, можешь конем владеть. Значит, ты не выдавал себя за другого, а сразу открылся, что от меня?

– Открылся, увидев, что можно, и сразу меня еще лучше приняли, а особенно панна, которая столь прелестная, что другой такой на всем свете не сыщешь. Как узнала, что я от вашей милости приехал, так прямо и не знала, где меня посадить, и, ежели бы не пост, катался бы я, как сыр в масле. А когда читала письмо, то слезами счастливыми его обливала.

Наместник от радости пере забыл все слова и только спустя некоторое время спросил:

– Про Богуна ничего не узнал?

– Неудобно мне было у барышни или у барыни про то спрашивать, но я коротко сошелся со старым татаринком Чехлой, который хоть и басурман, но слуга барышне верный. Он мне рассказал, что сперва все они досадовали на вашу милость, и очень, но потом образумились, особенно когда сделалось известно, что разговоры про Богуновы сокровища – басни.

– Каким же образом они это узнали?

– А оно, ваша милость, случилось вот как: была у них тяжба с Сивинскими, по каковой обязались они потом деньги выплатить. Как пришел срок, они к Богуну: «Займи!» А он на это: «Добра турецкого, говорит, малость имею, но сокровищ никаких, что имел, говорит, все растранжирил». Как услыхали они такое, сразу стал он для них поплоше, и сразу расположились они к вашей милости.

– Ничего не скажешь, досконально ты все разведал.

– Мой любезный сударь, ежели бы я про одно узнал, а про другое нет, тогда бы ваша милость мог мне сказать: «Коня ты мне подарил, да арчак не дал». А что вашей милости в коне без арчака?

– Ну, так бери же и арчак.

– Покорнейше благодарю вашу милость. Тут они Богуна в Переяслав и отправили, а я, едва про то узнал, подумал: а почему бы и мне в Переяслав не податься? Будет мною хозяин доволен, меня и в полк скорее запишут...

– Запишут, запишут тебя с нового квартала. Значит, ты и в Переяславе побывал?

– Побывал. Но Богуна не нашел. Старый полковник Лобода болен. Говорят, что вскорости Богун после него полковником станет... Однако там дивные дела какие-то творятся. Казаков горстка всего в хоругви осталась – остальные, рассказывают, за Богуном пошли или же на Сечь сбежали, и это, мой сударь, дело важное, потому что там смута какая-то затевается. Я и так, и этак пытался хоть что про Богуна узнать, но сказали мне всего только, что он на русский берег<sup>45</sup> переправился. Эвона, думаю, ежели так, значит, наша барышня от него в безопасности, и вернулся.

– Ну, ты справился изрядно. А неприятности какие-нибудь в дороге были?

– Нет, мой сударь, только есть вот ужасно хочется.

---

<sup>45</sup> Правый берег Днепра называли русским, левый – татарским. – *Примеч. автора.*

Редзян вышел, а наместник, оставшись в одиночестве, снова стал перечитывать письмо Елены и к устам прижимать эти буковки, куда как менее совершенные, чем рука, начертавшая их. Уверенность утвердилась в сердце его, и думал он так: «Дороги подсохнут скоро, послал бы только Бог погоду. Курцевичи же, узнав, что Богун голяк, уж точно меня не обманут. Разлоги я им прощу, да еще и своего прибавлю, только бы звездочку мою ясную заполучить...»

И, принарядившись, со светлым лицом, с грудью, переполненной счастьем, пошел он в часовню, чтобы первым делом Господа за добрую весть смиренно возблагодарить.

## Глава VI

По всей Украине и по Заднепровью словно бы что зашумело, словно бы предвестья близкой бури дали о себе знать; какие-то слухи странные стали катиться от селения к селению, от хутора к хутору, словно растение, которое осенью ветер по степи гонит и которое в народе перекасти-полем зовется. В городах шептались о некоей великой войне, правда, никто не знал, кто и с кем собирается воевать. Но безусловно что-то назревало. Лица стали тревожными. Пахарь с плугом неохотно выходил в поле, хотя весна настала ранняя, тихая, теплая и над степью уже давно звенели жаворонки. По вечерам жители селений собирались толпами на больших дорогах и вполголоса переговаривались о страшном и непостижимом. У слепцов, бродивших с лирами и песней, выспрашивали новости. Некоторым по ночам мерещились некие отсветы в небе или мнилось, что месяц, красней обычного, встает из-за лесов. Предсказывались бедствия либо смерть короля – и все было тем более удивительно, что к землям этим, издавна свывшимся с тревогами, битвами, набегами, страху нелегко было подступиться; видно, какие-то особо зловещие вихри стали носиться в воздухе, если тревога сделалась повсеместной.

Тем большая давила духота и тяжесть, что никто не умел нависшую угрозу объяснить. Однако среди недобрых предвестий два безусловно указывали, что и в самом деле следует ждать чего-то нехорошего. Во-первых, невиданное множество дедов-лирников появилось по всем городам и селам, и попадались меж них люди чужие, никому не ведомые, про которых шептались, что они деды ненастоящие. Слоняясь повсюду, они таинственно сулили, что день Суда и гнева Божьего близок. Во-вторых, низовые стали мертвецки пить.

Второе предвестие было куда как зловеще. Сечь, стиснутая в слишком тесных границах, не могла прокормить всех своих людей; походы бывали нечасто, так что степью казак прожить не мог; оттого-то в мирное время множество низовых ежегодно и разбредалось по местам заселенным. Бессечно сечевиков было по всей Украине и даже по всей Руси. Одни нанимались в старостовские отряды, другие шинкарили по дорогам, третьи занимались в городах и селах торговлей и ремеслом. Почти в каждой деревне стояла на отшибе хата, в которой жил запорожец. Некоторые заодно с хатой обзаводились еще женой и хозяйством. И запорожец этот, будучи человеком битым и тертым, очень часто становился благословением для деревни, в которой поселился. Не было лучших ковалей, колесников, кожевников, воскобоев, рыбаблей или ловчих. Запорожец все умел, за все брался – хоть дом ставить, хоть седло шить. Обычно были это насельники неспокойные, ибо жили житьем временным. Тому, кто намеревался с оружием в руках взыскать приговор, напасть на соседа или себя от возможного нападения защитить, достаточно было кинуть клич, и молодцы слетались, точно охочие попить ворон. Их услугами пользовалась и шляхта, и баре, вечно тяжущиеся друг с другом, но, если подобных оказий не подворачивалось, запорожцы сидели тихо по деревням и в поте лица добывали хлеб насущный.

Продолжалось так иногда год, иногда два, покуда вдруг не разносился слух или о большом каком-нибудь походе, или о походе кого-нибудь из атаманов на татар, на ляхів, на польских бар в валашской земле, и тогда все эти колесники, ковали, кожевники, воскобой бросали мирные занятия свои и для начала ударялись по всем украинским шинкам в беспробудное пьянство.

Пропивши все, что имели, они начинали пить в долг, не н а т е, щ о е, а л е н а т е, щ о б у д е. Ожидаемая добыча должна была оплатить гульбу.

Это поветрие повторялось с таким постоянством, что со временем умудренные здешние люди стали говорить: «Эге, шинки трясутся от низовых – на Украине что-то затевается».

И старосты незамедлительно укрепляли в замках гарнизоны, настороженно ко всему приглядываясь; вельможи собирали дружины, шляхта отсылала жен и детей в города.

И вот по весне той казаки запили, как никогда, без разбору проматывая все нажитое, причем не в одном повете, не в одном воеводстве, но по всей Руси, от края и до края.

Что-то, значит, и вправду назревало, хотя сами низовые, похоже, понятия не имели, что именно. Стали поговаривать о Хмельницком, о его побеге на Сечь, о городских казаках из Черкасс, Богуслава, Корсуня и других городов, сбежавших следом за ним; но поговаривали еще и совсем о другом. Уже много лет ходили слухи о большой войне с басурманами, которую король замыслил, чтобы добрым молодцам была добыча, но ляхи этому противились – так что теперь все слухи перемешались и посеяли в душах человеческих тревогу и ожидание чего-то неслыханного.

Встревоженность эта проникла даже в лубенские стены. На такое закрывать глаза не следовало, и, уж конечно, не сделал этого князь Иеремия. В державе его беспокойство хоть и не переросло в брожение, ибо страх всех сдерживал, но спустя какое-то время с Украины стали доходить слухи, что кое-где холопы выходят из повиновения шляхте, убивают евреев, что силою хотят записаться в реестр – с погаными воевать, и что число беглых на Сечь множится.

Поэтому князь, разослав письма к краковскому правителю, к пану Калиновскому и к Лободе в Переяслав, велел сгонять стада из степей и стягивать войска со сторожевых поселений. Тем временем пришли утешительные известия. Господин великий гетман сообщил все, что знал о Хмельницком, полагая, однако, невозможным, чтобы из этого дела смута какая-нибудь могла возникнуть; господин польный гетман отписал, что «гультайство, по своему обыкновению, точно рой, весною бесится». Один лишь старый хорунжий Зацвилюховский прислал ответ, в котором заклинал князя ко всему отнестись серьезно, ибо великая гроза надвигается с Дикого Поля. О Хмельницком же сообщал, что тот из Сечи в Крым поспешил – просить у хана помощи. «А как мне из Сечи други доносят, – стояло в письме, – будто там кошевой со всех луговин и речек пешее и конное войско собирает, не толкуя никому, зачем делает так, то полагаю я, что гроза эта обрушится на нас, и ежели случится такое с татарской подмогою, дай Боже, чтобы погибель всем землям русским не приключилась».

Князь верил Зацвилюховскому больше, чем гетманам, ибо понимал, что на всей Руси никто так не знает казаков и их козней. Поэтому принял он решение собрать как можно больше войска, а пока что обстоятельно разобраться в происходящем.

Однажды утром велел он позвать Быховца, поручика валашской хоругви, и сказал ему:

– Поедешь, сударь, с посольством от меня к пану кошевому атаману на Сечь и вручишь ему это письмо с моею княжескою печатью. А чтобы знал ты, чего там держаться, скажу тебе вот что: письмо это – всего лишь предлог, а цель посольства в голове твоей милости должна оставаться, подмечай все, что у них происходит, сколько войска собрали и собирают ли еще. Особенно же постарайся каких-нибудь тамошних людей на свою сторону привлечь и про Хмельницкого хорошенько все разузнать, где находится и правда ли, что в Крым поехал у татар помощи просить. Ясно?

– Как день.

– Поедешь на Чигирин, но в дороге более одной ночи не отдыхай. По приезде пойдешь к хорунжему Зацвилюховскому, дабы снабдил тебя письмами к своим друзьям на Сечи, каковые письма друзьям этим секретно передашь. От них все и узнаешь. Из Чигирина поплывешь в Кудак, поклонись от меня пану Гродзицкому и отдашь ему вот это письмо. Он тебя велит переправить через пороги и предоставит необходимых перевозчиков. В Сечи, однако, не прохлаждайся, гляди, слушай и спешь обратно, ежели живой останешься, ибо экспедиция эта нелегкая.

– Ваше княжеское сиятельство, можете располагать жизнью моею! Людей много взять?

– Сорок человек сопровождения. Отправишься нынче под вечер, а перед отъездом приходи за инструкциями. Важную миссию поручаю я тебе, любезный сударь.

Быховец вышел обрадованный, а в прихожей встретил Скшетуского и нескольких офицеров от артиллерии.

– Зачем звали? – поинтересовались они.

– Мне в дорогу сегодня.

– Куда же? Куда это?

– В Чигирин, а оттуда – дальше.

– Тогда пойдем-ка со мною, – сказал Скшетуский.

И, пришед с ним к себе на квартиру, давай упрашивать Быховца, чтобы тот ему поручение уступил.

– Ежели ты друг, – говорил он, – проси, чего хочешь, коня турецкого, скакуна, не пожалей, только бы поехать, потому как душа моя в те стороны рвется! Денег хочешь – пожалуй, только уступи. Славы особой там не добудешь, потому что прежде того война, если ей суждено быть, начнется – а погибнуть можно. Я ведь знаю, Ануся тебе, как и многим, мила – а уедешь, ее у тебя и отобьют.

Последний аргумент более прочих подействовал на пана Быховца, однако на уговоры он не поддавался. Что скажет князь, если он согласится. Не осерчает ли? Такое поручение – фавор от князя.

Скшетуский тотчас поспешил к князю и попросил немедленно о себе доложить.

Спустя минуту паж сообщил, что князь дозволяет войти.

Сердце стучало в груди наместника, опасавшегося услышать краткое «нет!», после чего пришлось бы на всем поставить крест.

– Что скажешь? – молвил князь.

Скшетуский бросился к его ногам.

– Светлейший княже, я пришел покорнейше умолять, чтобы поездка на Сечь была поручена мне. Быховец по дружбе, может, и уступил бы, потому что мне она важнее жизни, да только он опасается, не будешь ли ты, ваша княжеская светлость, сердит на него.

– Господи! – воскликнул князь. – Да я бы никого другого, кроме тебя, и не послал бы, но показалось мне, что ты поедешь неохотно, недавно столь долгую дорогу проделав.

– Светлейший княже, хоть бы и каждый день был я посылаем, всегда *libenter*<sup>46</sup> в те стороны ездить буду.

Князь остановил на нем долгий взгляд черных своих глаз и, помолчав, спросил:

– Что же у тебя там такое?

Наместник, не умея вынести испытующего взгляда, смешался, словно в чем-то провинился.

– Видно, придется рассказать все как есть, – сказал он, – ибо от проницательности вашего княжеского сиятельства никакие *argana*<sup>47</sup> утаить не можно; не знаю только – отнесется ли ваша милость с сочувствием к словам моим.

И он стал рассказывать, как познакомился с дочкой князя Василя, как влюбился в нее и как жаждет теперь ее навестить, а по возвращении из Сечи увезти в Лубны, чтобы от казацкого разгула и Богуновых домогательств уберечь. Умолчал он только о махинациях старой княгини, ибо тут связывало его слово. Зато он так стал умолять князя, чтобы функции Быховца ему перепоручил, что князь сказал:

– Я бы тебе и так поехать дозволил, и людей бы дал, но коль скоро ты столь разумно придумал собственную склонность сердечную с моим поручением согласить, остается мне пойти навстречу.

Сказав это, он хлопнул в ладоши и велел пажу позвать пана Быховца.

---

<sup>46</sup> охотно (лат.).

<sup>47</sup> тайны (лат.).



Обрадованный наместник припал к руке князя, а тот стиснул в ладонях голову его и велел не падать духом. Он бесконечно любил Скшетуского, дельного воина и офицера, на которого во всем можно было положиться. К тому же меж них существовала связь, какая возникает между подчиненным, всею душою любящим начальника, и начальником, который это знает и чувствует. Возле князя толпилось немало придворных, служивших или угождавших ради собственной корысти, но орлиный ум Иеремии хорошо видел, кто чего стоит. Знал он, что Скшетуский как человек – прозрачнее слезы, а потому ценил его и за преданность платил благодарностью.

С радостью услышал он, что любимец его избрал дочку Василя Курцевича, старого слуги Вишневецких, память о котором была князю тем дороже, чем печальнее.

– Не из неблагодарности ко князю, – сказал он, – не справлялся я о девушке, но потому, что опекуны не бывали в Лубнах, а жалоб никаких я на них не получал, и полагал посему, что они люди достойные. Но уж коли ты мне сейчас о княжне рассказал, я, как о родной, о ней помнить буду.

Скшетуский, слыша такое, не мог не подивиться доброте господина своего, который как бы сам себя упрекал за то, что посреди обширных своих трудов не занялся судьбою дитяти старого солдата и дворянина.

Между тем явился Быховец.

– Любезный сударь, – обратился к нему князь, – слово сказано: желаешь – поезжай, но я прошу, уступи ты ради меня это поручение Скшетускому. У него на то есть свои особые резоны, а я уж, сударь, для тебя взамен что-нибудь придумаю.

– Ваше сиятельство, – ответил Быховец, – величайшая это милость от вашего сиятельства, что, имея право приказать, ты полагаешь дело на мое усмотрение. И недостойн был бы я такой милости, не прими я ее с наиболее благодарнейшим сердцем.

– Поблаговари же своего товарища, – обратился князь к Скшетускому, – и ступай собираться.

Скшетуский стал горячо благодарить Быховца и через несколько часов был готов в дорогу. В Лубнах ему уже давно не сиделось, а поездка соответствовала всем его намерениям. Сперва ему предстояло повидать Елену, а потом, увы, расстаться с нею на долгое время, правда, именно это время и нужно было, чтобы после небывалых дождей дороги стали проезжими для колесного передвижения. Прежде того княгиня с Еленой добраться до Лубен бы не смогли, поэтому Скшетускому оставалось ждать или в Лубнах, или перебраться в Разлоги, что было противно договору с княгиней и, самое главное, возбудило бы подозрения Богуна. В полной безопасности от притязаний последнего Елена могла себя чувствовать только в Лубнах, но, поскольку она была вынуждена долгое время оставаться в Разлогах, лучше всего Скшетускому было уехать, а на обратном пути под охраною княжеского отряда увезти ее с собою. Все таким образом обдумав, наместник торопился с отъездом и, получив от князя инструкции и письма, а деньги на поездку от скарбничего, задолго до наступления ночи пустился в дорогу; прихватив Редзяна и имея при себе сорок верховых из казацкой княжеской хоругви.

## Глава VII

Была уже вторая половина марта. Травы буйно пошли в рост, зацвели перекасти-поле, степь закипела жизнью. Наутро пан Скшетуский в челе своих людей ехал словно бы по морю, бегучею волной которого была колеблемая ветром трава. А вокруг бесконечно было радости и весенних голосов: кликов, чиликанья, посвистов, щелканья, трепетания крыл, гудения насекомых; степь звучала лирою, на которой бряцала рука Господня. Над головами ездовых ястребы, словно подвешенные крестики, неподвижно стояли в лазури, дикие гуси летели клином, проплывали станицы журавлей; на земле же – гон одичалых табунов: вон мчатся степные кони, видишь, как вспарывают они грудью травы, летят, словно буря, и останавливаются как вкопанные, полукольцом окружая всадников; гривы их разметались, ноздри раздуты, очи удивленные! Кажется – растоптать готовы незваных гостей. Но мгновение – и вдруг срываются с места, и пропадают так же быстро, как примчались, только трава шумит, только цветики мелькают! Топот утихнул, и опять слышна громкая птичья разноголосица. И все бы, кажется, радостно, но есть какая-то печаль в радости этой, шумливо вроде бы, а пусто, – гей! – а широко, а просторно! Конем не достичь, мыслью не постичь... Разве что печаль эту, безлюдье это, степи эти полюбить и смятенною душою кружить над ними, спать вечным сном в их курганах, голоса степные внимать и самому откликаться.

Стояло утро. Крупные капли сверкали на полыни и бурьяне, свежие дуновения ветра просушивали землю, на которой дожди оставили обширные лужи, разлившиеся озерками и сиявшие на солнце. Отряд наместника медленно продвигался вперед, ибо трудно поспешать, когда лошади то и дело проваливаются по колено в мягкую землю. Наместник, однако, не позволял подолгу отдыхать на могильных буграх – он спешил встретиться и проститься. Этак к полудню следующего дня, проехав полосу леса, увидел он ветряки Разлогов, разбросанные по холмам и ближним курганам. Сердце в груди Скшетуского застучало, как молот. Его не ждут, никто о его приезде не знает: что скажет она, когда он появится? А вон, вон уже хаты п і д с у с і д к о в, потонувшие в молодых садах вишневых; далее раскиданная деревенька холопей, а еще далее завиднелся и колодезный журавль на господском майдане. Наместник поднял коня и погнал его в галоп. За ним кинулись остальные; так и полетели они по деревне со звоном и криками. Здесь и там селянин показывался из хаты, глядел, крестился: черти не черти, татары не татары. Грязь из-под копыт летит так, что не поймешь, кто скачет. А они доскакали уже до майдана и осадили перед затворенными воротами.

– Эй вы там! Отворяй, кто живой!

На шум, стук и собачий лай прибежали со двора люди. В испуге приникли они к воротам, решив, что на усадьбу напали.

– Кто такие?

– Отворяй!

– Князей дома нету.

– Отворяй же, собачий сын! Мы от князя из Лубен.

Наконец челядь узнала Скшетуского.

– Это ваша милость! Сейчас мы, сейчас!

Ворота отворились, а тут и сама княгиня вышла на крыльцо, воззрившись из-под ладони на гостей.

Скшетуский спрыгнул с коня и, подойдя к ней, сказал:

– Не узнаешь, ваша милость сударыня?

– Ах! Вы ли это, сударь наместник? А я уж думаю, татары напали. Кланяюсь и милости прошу в дом.

– Удивляешься, верно, любезная сударыня, – сказал Скшетуский, когда вошли, – видя меня в Разлогах, а ведь я слова не нарушил. Это князь меня в Чигирин, а затем и далее посылает. Он велел и в Разлогах остановиться, о здоровье вашем справиться.

– Благодарствую его княжескому сиятельству, милостивому господину и благодетелю нашему. Скоро ли он задумал нас из Разлогов сгонять?

– Князь вообще об этом не помышляет, не зная, что прогнать бы вас не мешало; а я что сказал, тому и быть. Останетесь вы в Разлогах, у меня своего добра хватит.

Княгиня сразу повеселела и сказала:

– Садись же, ваша милость, и пребывай в приятности, как я, видя тебя.

– Княжна здорова? Где она?

– Уж я понимаю, что не ко мне ты приехал, мой кавалер. Здорова она, здорова; от амуров этих девка еще глаже стала. Да я ее тотчас и кликну, а сама приберусь малость – стыдно мне в таком виде гостя принимать.

Одета была княгиня в платье из линялой набойки, поверх которого был накинута кофточка; обута же в яловые сапоги.

Но тут Елена, хоть и непозванная, влетела в горницу, узнав от татарина Чехлы, кто приехал. Вбежав, запыхавшаяся и красная, как вишня, она никак не могла отдышаться, и только глаза ее смеялись счастьем и радостью. Скшетуский кинулся к ней руки целовать, а когда княгиня намеренно вышла, стал целовать в уста, потому что человек он был пылкий. Она же не очень и противилась, слабей от счастливого восторга.

– А я вашу милость и не ждала, – шептала она, жмуря свои прелестные очи. – Да уж не целуй так, негоже оно.

– Как не целовать, – отвечал рыцарь, – ежели мне и мед не столь сладок? Я уж думал – засохну без тебя; сам князь велел поехать.

– Значит, ему известно?

– Я признался. А он еще и рад был, вспомнив про князя Василя. Эй, видать, опоила ты меня чем-то, девица, ничего и никого, кроме тебя, не вижу!

– Милость это Божья – таковое ослепление твоё.

– А помнишь, как кречет руки наши соединил? Видно, оно суждено было.

– Помню...

– Когда я в Лубнах с тоски на Солоницу ходил, ты мне словно живая являлась, а руки протяну – исчезаешь. Но теперь никуда ты от меня не денешься, и ничего уже нам больше не помешает.

– Если и помешает, то не по воле моей.

– Скажи, любезен ли я тебе?

Елена опустила очи, но ответила торжественно и четко:

– Как никто другой в целом свете.

– Пускай меня золотом и почестями осыплют, я предпочту эти слова, ибо вижу, что правду ты говоришь, хоть сам не знаю, чем сумел заслужить благосклонность такую.

– Ты меня пожалел, приголубил, вступился за меня и такие слова сказал, каких я прежде никогда не слыхала.

Елена взволнованно умолкла, а поручик снова стал целовать ей руки.

– Госпожою мне будешь, не женой, – сказал он.

И оба замолчали, только он взора с нее не сводил, торопясь вознаградить себя за долгую разлуку. Девушка показалась ему еще красивей, чем раньше. В сумрачной этой горнице, в игре солнечных лучей, разбивающихся в радуги стеклянными репейками окон, она походила на изображения Пречистых Дев в темных костельных приделах. Но при этом от нее исходила такая теплота и такая жизнерадостность, столько прелестной женственности и очарова-

ния являл собою и лик, и весь облик ее, что можно было голову потерять, без ума влюбиться и любить вечно.

– От красы твоей я ослепнуть могу, – сказал наместник.

Белые зубки княжны весело блеснули в улыбке.

– Анна Борзобогатая, наверно, в сто раз краше!

– Ей до тебя, как оловянной этой тарелке до луны.

– А мне его милость Редзян другое говорил.

– Его милость Редзян по шее давно не получал. Что мне та панна! Пускай другие пчелы с цветка того мед берут, там их достаточно жужжит.

Дальнейшая беседа была прервана появлением старого Чехлы, явившегося приветствовать наместника. Он полагал его уже своим будущим господином и поэтому кланяться начал от порога, восточным обычаем, выказывая уважение.

– Ну, старый, возьму с девицей и тебя. Ты ей тоже служи до смерти.

– Недолго уже и ждать, господин! Да сколько жить, столько служить. Нет Бога, кроме Бога!

– Этак через месяц, как вернусь из Сечи, уедем в Лубны, – сказал наместник, обращаясь к Елене. – А там ксендз Муховецкий с епитрахилью ждет.

Елена обомлела.

– Ты на Сечь едешь?

– Князь с письмом послал. Но ты не пугайся. Персона посла даже у поганных неприкосновенна. Тебя же с княгиней я хоть сейчас отправил бы в Лубны, да вот дороги страшные. Сам испытал, даже верхом не очень проедешь.

– А к нам надолго?

– Сегодня к вечеру на Чигирин двинемся. Раньше прощусь, скорей ворочусь. Княжья служба. Не моя воля, не мой час.

– Прошу откушать, коли налюбезничались да наворковались, – сказала, входя, княгиня. – Ого! Щеки-то у девки пылают, видно, не терял ты времени, пан кавалер! Да чего там, так оно и быть должно!

Она покровительственно похлопала Елену по плечу, и все пошли обедать. Княгиня была в прекрасном настроении. По Богуну она уже давно отпечалилась, к тому же благодаря щедрости наместника все складывалось так, что Разлоги «*sum boris, лесис, границибус et колониис*» она могла считать собственностью своей и сыновей своих.

А богатства это были немалые.

Наместник расспрашивал про князей, скоро ли вернутся.

– Со дня на день жду. Сперва серчали они, но потом, обдумав действия твои, очень как будущего родича полюбили, потому, мол, что такого лихого кавалера трудно уже в нынешние мягкие времена найти.

Отобедав, пан Скшетуский с Еленой пошли в вишенник, тянувшийся за майданом до самого рва. Сад, точно снегом, осыпан был ранним цветом, а за садом чернелась дубрава, в которой куковала кукушка.

– Пусть наворожит нам счастье, – сказал пан Скшетуский. – Только нужно спрос спросить.

И, повернувшись к дубраве, сказал:

– Зозуля-рябуля, сколько лет нам с этою вот панной в супружестве жить?

Кукушка тотчас закуковала и накуковала полсотни с лишним.

– Дай же Бог!

– Зозули всегда правду говорят, – сказала Елена.

– А коли так, то я еще спрошу! – разохотился наместник.

И спросил:

– Зозуля-рябуля, а много ли парнишек у нас народится?

Кукушка, словно по заказу, тотчас откликнулась и накуковала ни больше ни меньше как двенадцать.

Пан Скшетуский не знал от радости, что и делать.

– Вот пожалте! Старостю сделаюсь, ей-богу! Слыхала, любезная панна? А?

– Ничего я не слыхала, – ответила красная, как вишня, Елена. – О чем спрашивал, даже не знаю.

– Может, повторить?

– И этого не нужно.

В таких беседах и беззаботных шутках, словно сон, прошел их день. Вечером после долгого нежного прощания наместник двинулся на Чигирин.

## Глава VIII

В Чигирине пан Скшетуский застал старого Зацвилюховского в великих волнениях и беспокойстве; тот нетерпеливо ждал княжеского посланника, ибо из Сечи приходили вести одна зловещее другой. Уже не вызывало сомнений, что Хмельницкий готовится с оружием в руках расквитаться за свои обиды и отстоять давние казацкие привилегии. Зацвилюховскому стало известно, что тот побывал в Крыму у хана, выклянчивая татарской подмоги, с каковою со дня на день ожидался на Сечи. Все говорило за то, что задуман великий от Низовья до Речи Посполитой поход, который при участии татар мог оказаться роковым. Гроза угадывалась все явственней, отчетливее, страшней. Уже не темная, неясная тревога расплзалась по Украине, а повсеместное предчувствие неотвратимой резни и войны. Великий гетман, поначалу не принимавший всего этого близко к сердцу, сейчас перевел свои силы к Черкасам, но главным образом затем, чтобы ловить беглых, так как городские казаки и простолюдины во множестве стали убегать на Сечь. Шляхта скапливалась в городах. Поговаривали, что в южных воеводствах имело быть объявленным народное ополчение. Кое-кто, не ожидая обычного в таких случаях королевского указа, отослав жен и детей в замки, направлялся в Черкасы. Несчастливая Украина разделилась на два лагеря: одни устремились на Сечь, другие – в коронное войско; одни были за существующий порядок, другие – за дикую волю; одни намеревались сохранить то, что было плодом вековых трудов, другие вознамерились нажитое это у них отнять. Вскоро и тем и тем суждено было обогреть братские руки кровью собственного тела. Ужасающая распря, прежде чем обрести религиозные лозунги, совершенно чуждые Низовью, затевалась как война социальная.

И хотя черные тучи обложили украинский горизонт, хотя отбрасывали они зловещую мрачную тень, хотя в недрах их все клубилось и грохотало, а громы перекатывались из конца в конец, люди пока не отдавали себе отчета, какая неимоверная разгуливается гроза. Возможно, что отчета не отдавал себе и сам Хмельницкий, пока что славший краковскому правителю, казацкому комиссару и коронному хорунжему письма, полные жалоб и нареканий, а заодно и клятвенных признаний в верности Владиславу IV и Речи Посполитой. Хотел ли он выиграть время или же полагал, что какой-нибудь договор еще может положить конец конфликту – мнения расходились, и только два человека ни на мгновение не обольщались по этому поводу.

Людьми этими были Зацвилюховский и престарелый Барабаш.

Старый полковник тоже получил от Хмельницкого послание. Было оно издевательским, угрожающим и оскорбительным. «Со всем Войском Запорожским починаем мы, – писал Хмельницкий, – горячо взывать и молить, дабы в соблюдении были оные привилегии, каковые ваша милость у себя укрывал. А посколь сокрыл ты их для собственной корысти и богатств умножения, постольку все Войско Запорожское полагает тебя достойным полковничать над баранами или свиньями, но не человеками. Я же прошу прощения у вашей милости, ежели в чем не угодил в убогом доме моем в Чигирине о празднике св. Миколы и что уехал на Запорожье, не сказавшись и не спросившись».

– Вы только поглядите, судари мои, – говорил Зацвилюховскому и Скшетускому Барабаш, – как глумится он надо мною, а ведь я его ратному делу обучал и, можно сказать, вместо отца был!

– Значит, он со всем войском запорожским привилегий добиваться собирается, – сказал Зацвилюховский. – И война, попросту говоря, будет гражданская, изю всех самая страшная.

На это Скшетуский:

– Видно, спешить мне надо; дайте же, милостивые государи, письма к тем, с кем по приезде следует мне связаться.

– К кошевому атаману есть у тебя?

– Есть. От самого князя.

– Тогда дам я тебе к одному куренному, а у его милости Барабаша есть там сродственник, тоже Барабаш; обо всем и узнаешь. Да только не опоздали ли мы с таковой экспедицией? Князю угодно знать, что там происходит? Ответ простой: недоброе там! Угодно знать, что делать? Совет простой: собрать как можно больше войска и соединиться с гетманами.

– Пошлите же к нему гонца с ответом и советом, – сказал Скшетуский. – А мне так и так ехать, ибо послан и княжеского решения изменить не могу.

– А знаешь ли ты, сударь, что это очень опасная поездка? – сказал Зацвилюховский. – Народ уже столь разошелся, что упасть трудно. Не будь поблизости коронного войска, чернь и на нас бы накинута. Что же тогда там? К дьяволу в пасть едешь.

– Ваша милость хорунжий! Иона не в пасти даже, но во чреве китовом был, а с Божьей помощью цел и невредим остался.

– Тогда езжай. Решимость твою хвалю. До Кудака, ваша милость, доедешь в безопасности, там же решишь, как действовать. Гродзицкий – солдат старый, он тебе и даст верные инструкции. А ко князю я сам, наверно, двинусь; если уж мне сражаться на старости лет, то лучше под его рукой, чем под чьей еще. А пока что байдак или дубас для вашей милости снаряжу и гребцов дам, которые тебя до Кудака доставят.

Скшетуский вышел и отправился к себе на квартиру, на базарную площадь в дом князя, намереваясь поскорей закончить приготовления. Несмотря на опасности предстоящей поездки, о которых предупреждал его Зацвилюховский, наместник думал о ней не без удовольствия. Ему предстояло на всем почти протяжении, до самого до Низовья, увидеть Днепр, да еще и пороги; а земли эти представлялись тогдашнему рыцарству заколдованными, таинственными, куда стремилась всякая душа, жадная до приключений. Большинство из проживших всю жизнь свою на Украине не могли похвастаться, что видели Сечь – разве что пожелали бы записаться в товарищество, а желающих сделать это среди шляхты было теперь немного. Времена Самека Зборовского прошли безвозвратно. Разрыв Сечи с Речью Посполитой, начавшийся в эпоху Наливайки и Павлюка, не только не приостановился, но все более углублялся, и приток на Сечь благородного люда, как польского, так и русского, ни языком, ни верою не отличавшегося от низовых, значительно уменьшился. У таких, как Булыги-Курцевичи, находилось немного подражателей; вообще на Низовье и в товарищество вынуждали теперь уйти шляхту неудачи, изгнание, то есть грехи, покаянием не замаливаемые.

Оттого-то некая тайна, непроницаемая, как днепровские туманы, окружала коггистую низовую республику. Про нее баяли чудеса, и пан Скшетуский собственными глазами увидеть их любопытствовал.

Но в то, что оттуда не вернется, он, по правде говоря, не верил. Посол есть посол, да к тому же еще от князя Иеремии.

Размышляя этак, глядел он из окна своего на площадь, и за этим занятием прошел час и второй, как вдруг Скшетускому показалось, что видит он две знакомые фигуры, направляющиеся в Звонецкий Кут, где была торговля валаха Допула.

Он взгляделся. Это были пан Заглоба с Богуном.

Они шли, держа друг друга под руки, и вскорости исчезли в темном входе, над которым торчала метелка, обозначающая корчму и погребок.

Наместника удивило и пребывание Богуна в Чигирине, и дружба его с паном Заглобой.

– Редзян! Ко мне! – крикнул он слугу.

Тот появился в дверях соседней комнаты.

– Слушай же, Редзян: пойдешь вон в тот погребок, видишь, где метелка? Подойдешь к толстому шляхтичу с дыркой во лбу и передашь, что некий человек хочет видеть его по неотложному делу. А ежели спросит кто, не говори.

Редзян исчез, и через какое-то время наместник увидел его на майдане в обществе пана Заглобы.

– Приветствую тебя, сударь! – сказал Скшетуский, когда шляхтич возник на пороге. – Узнаешь ли меня?

– Узнаю ли? Чтоб меня татары на сало перетопили и свечек из него Магомету понаставили, если не узнаю! Ты же, ваша милость, несколько месяцев назад Чаплинским двери у Допула отворял, что мне особенно понравилось, ибо я из темницы в Стамбуле освободился таким же образом. А что поделявает господин Сбейнабойка герба Сорвиштанец, а также его непорочность и меч? Все ли еще садятся ему на голову воробы, за сухое дерево его принимая?

– Пан Подбипятка здоров и просил вашей милости кланяться.

– Богатый шляхтич, но глупый ужасно. Ежели он отсечет такие же три головы, как его собственная, то засчитывать просто нечего, потому что посечет он трех безголовых. Тьфу! Ну и жара, а ведь только март еще на дворе! Аж горло пересыхает.

– У меня мед изрядный с собою, может, чарку отведаешь, ваша милость?

– Дурак отказывается, когда умный угощает. Мне цирюльник как раз мед прописал принимать, чтобы меланхолию от головы оттянуло. Тяжелые времена для шляхты наступают: *dies irae et calamitatis*<sup>48</sup>. Чаплинский со страху чуть живой, к Допулу не ходит, потому как там верхушка казацкая пьет. Я один и противостою опасности, составляя оным полковникам компанию, хотя полковничество их дегтем смердит. Добрый мед!.. И правда отменный. Откуда это он у тебя, ваша милость?

– Из Лубен. Значит, много тут казацкого начальства?

– Кого только нет! Федор Якубович тут, старый Филон Деद्याла тут, Данила Нечай тут, а еще любимчик ихний, Богун, который друг мне стал, когда я его перепил и пообещал усыновить. Все они теперь в Чигирине смердят и соображают, в какую сторону податься, потому что пока не смеют в открытую за Хмельницким пойти. А если не пойдут, в том моя заслуга.

– Это как же?

– А я пью с ними и на сторону Речи Посполитой перетягиваю. Верными уговариваю оставаться. Ежели король меня старостой не сделает, то считай, сударь мой, что нету правды и благодарности за службу в этой нашей Речи Посполитой и лучше оно куриц на яйца сажать, чем головой рисковать *pro publico bono*.<sup>49</sup>

– Лучше, ваша милость, рисковать, на нашей стороне сражаясь. Но сдастся мне, что ты деньги попусту тратишь на угощенье, ибо таким путем их на нашу сторону не склонить.

– Я? Деньги трачу? За кого ты, сударь, меня принимаешь? Разве не довольно, что я запросто держу себя с хамами, так еще и платить? Фавором я полагаю позволение платить за свою персону.

– А Богун этот что тут делает?

– Он? У него, как и у прочих, ушки на макушке насчет новостей из Сечи. За тем и приехал. Это же любимец всех казаков! Все с ним, точно потаскухи, заигрывают, потому что перяславский полк за ним, а не за Лободой пойдет. А кто, к примеру, может знать, к кому реестровые Кречовского перекинутся? Брат низовым Богун, когда нужно идти на турка или татарву, но сейчас осторожничает он ужас как, ибо мне по пьяному делу признался, что влюблен в шляхтянку и с нею пожениться хочет; оттого и некстати ему перед женитьбой с холопами брататься, оттого он ждет, чтобы я его усыновил и к гербу допустил... Ай да мед! Ай хорош!

– Налей же себе, ваша милость, еще.

– Налью, налью. Не в кабаках такой продают.

---

<sup>48</sup> день гнева и смятения (*лат.*).

<sup>49</sup> ради общественного блага (*лат.*).



– А не интересовался ли ты, сударь, как зовут эту самую шляхтянку, на которой Богун жениться собрался?

– А на кой мне, досточтимый наместник, ее имя! Знаю только, что когда она Богуну рога наставит, то будет госпожой оленихой величаться.

Наместник почувствовал огромное желание дать пану Заглобе по уху, а тот, ничего не заметив, продолжал:

– Ох и красавчик был я смолоду! Рассказал бы я тебе, за что муки в Галате принял! Видишь дырку во лбу? Довольно будет, если скажу, что ее мне евнухи в серале тамошнего паши пробили.

– А говорил, что пуля разбойничья!

– Говорил? Правду говорил! Всякий турчин – разбойник. Господь не даст соврать!

Дальнейшая беседа была прервана появлением Зацвилюховского.

– Ну, сударь наместник, – сказал старый хорунжий, – байдаки готовы, гребцы у тебя люди верные; отправляйся же с Богом, хоть сейчас, если желаешь. А вот и письма.

– Тогда я велю людям идти на берег.

– В какие края ты, ваша милость, собрался? – поинтересовался пан Заглоба.

– На Сечь.

– Горячо тебе там будет.

Однако наместник предупреждения этого уже не слышал, потому что вышел из дому на подворье, где при конях находились казаки, совсем уже готовые в дорогу.

– В седло и к берегу! – скомандовал пан Скшетуский. – Лошадей перевести на челны и ждать меня.

В доме тем временем старый хорунжий сказал Заглобе:

– Слыхал я, что ты, сударь, с полковниками казацкими якшаешься и пьянствуешь с ними.

– *Pro publico bono*, ваша милость хорунжий.

– Быстрый умом ты, сударь, и его у тебя поболее, чем стыда. Хочешь казаков *in poculis*<sup>50</sup> расположить к себе, чтобы, если победят, друзьями твоими были.

– А что ж! Мучеником турецким будучи, казацким стать не тороплюсь, и нет в том ничего удивительного, ибо два грибочка доведут до гробочка. В рассуждении же стыда, так я никого не приглашаю испить его со мною – сам же изопью, и, даст Бог, он мне не меньше меда вот этого по вкусу придется. Заслуга – она, что масло, наверх всплывет.

В этот момент вернулся Скшетуский.

– Люди уже выступили, – сказал он.

Зацвилюховский налил по чарке.

– За счастливую поездку!

– И благополучное возвращение! – добавил пан Заглоба.

– Плыть вам легко будет, вода безбрежная.

– Садитесь же, милостивые государи, допьем. Невелик бочонок-то.

Они сели и разлили мед.

– Интересные края повидаешь, ваша милость, – говорил Зацвилюховский. – Уж ты пану Гродзицкому в Кудаке от меня поклонись! Вот солдат так солдат! На самом краю света сидит, вдали от присмотра гетманского, а порядок у него, дай Боже такому во всей Речи Посполитой быть. Я-то знаю и Кудак, и пороги. Бывало, туда чаще ездили, и тоска прямо за душу берет, как подумаешь, что все это прошло, минуло, а теперь...

Тут хорунжий подпер седую свою голову и глубоко задумался. Сделалось тихо, слышалось только цоканье в воротах: это последние люди Скшетуского выходили на берег к байдакам.

---

<sup>50</sup> за кубками (лат.).

– Боже мой! – молвил, очнувшись от раздумий, Зацвиличовский. – Хоть распри и не стихали, а раньше лучше было. Как сейчас помню, под Хотинем, двадцать семь лет тому назад! Когда гусары под командой Любомирского шли в атаку на янычар, так молодцы за своим валом шапки подкидывали и кричали Сагайдачному, аж земля тряслась: «П у с т и, б а т ь к у, з л я х а м и в м и р а т и!» А сейчас? Сейчас Низовье, которому форпостом христианства надлежит быть, выпускает татар в пределы Речи Посполитой, чтобы накинуться на них, когда будут с награвленным возвращаться. Чего там! хуже еще: Хмельницкий с татарами снюхивается, чтобы христиан за компанию убивать...

– Выпьемте же с горя! – прервал Заглоба. – Ай мед!

– Дай же, Господи, умереть поскорее, чтобы уособицы не видеть, – продолжал старый хорунжий. – Взаимные грехи придется кровью смывать, но не будет это кровь искупления, ибо брат брата убивать станет. Кто на Низовье? Русины. А кто в войске князя Яремы? Кто в шляхетских отрядах? Русины. А в коронном стане разве мало их? А я сам кто такой? Эй, злосчастная Украина! Крымские нехристи закуют тебя в цепи, и на турецких галерах грести будешь!

– Да не убивайся так, сударь хорунжий! – сказал Скшетуский. – А то нас прямо слеза прошибает. Может, еще и солнышко взойдет!

Но солнце-то как раз заходило, и последние лучи его лежали красными отсветами на белой голове хорунжего.

В городе звонили к вечерне и к похвальной.

Они вышли. Пан Скшетуский отправился в костел, пан Зацвиличовский в церковь, а пан Заглоба к Допулу в Звонецкий Кут.

Уже совсем стемнело, когда все трое снова сошлись у пристани на берегу Тясмина. Люди Скшетуского сидели по байдакам. Весельщики еще перетаскивали груз. Холодный ветер тянул в сторону недалекого устья, где река впадала в Днепр, и ночь собиралась быть не очень погжей. При свете огня, плававшего на берегу, вода в реке кроваво поблескивала и, казалось, с неимоверной стремительностью уносилась куда-то в неведомую тьму.

– Ну, счастливого пути! – сказал хорунжий, сердечно пожимая руку молодому человеку. – Держи, ваша милость, ухо востро.

– Уж постараюсь. Даст Бог, скоро свидимся.

– Теперь, наверное, в Лубнах или в княжеском войске.

– Значит, ты, ваша милость, окончательно к князю собрался?

– А что ж? Война так война!

– Оставайся же в добром здравии, сударь хорунжий.

– Храни тебя Бог!

– Vive valeque!<sup>51</sup> – кричал Заглоба. – А ежели вода аж до Стамбула тебя, сударь, донесет, кланяйся султану. А нет – так черт с ним!.. Ох и отменный был медок!.. Брр! А тут не тепло!

– До свиданья!

– До скорого!

– Помогай вам Бог!

Заскрипели весла, плеснули водой, и байдаки отплыли. Огонь на берегу стал быстро удаляться. Долго еще видел Скшетуский внушительную фигуру хорунжего, освещенную пламенем костра, и необъяснимая печаль стеснила внезапно грудь его.

Несет челны вода, несет, да только уносит от благожелательных сердец, от любимой и от родных сторон, уносит неумолимо, как судьба, в стороны дикие, во тьму...

Из тясминова устья выплыли на Днепр.

<sup>51</sup> Живи и будь здоров! (лат.)

Ветер свистел, весла издавали однообразный и печальный звук. Весельщики затянули песню:

Гей, то не пили пилили,  
Не тумани уставали.

Скшетуский закутался в бурку и улегся на постелю, устроенную для него солдатами. Он стал думать об Елене, о том, что она все еще в Лубнах, что Богун остался, а он вот уехал. Опасения, недобрые предчувствия, тревога слетелись к нему, точно вороны. Он попытался было совладать с ними, но устал, мысли его начали путаться, странно как-то смешались с посвистом ветра, с плеском весел, с песнями рыбаков, и он уснул.

## Глава IX

Наутро пан Скшетуский проснулся бодрым, здоровым и повеселевшим. Погода стояла чудная. Широко разлившаяся вода морщилась мелкой рябью от легкого и теплого ветерка.

Берега, сокрытые туманом, сливались с поверхностью вод в одну неоглядную равнину. Редзян, проснувшись и протерев глаза, даже испугался. Он удивленно поглядел по сторонам и, не увидев нигде берега, сказал:

– Господи! Мой сударь, неужто мы на море выплыли?..

– Это такая река широкая, не море, – ответил Скшетуский, – а берег увидишь, когда туман рассеется.

– Я так полагаю, что вскорости нам и в Туретчину ехать придется?

– И поедем, коли велят. А погляди-ка: мы тут не одни...

В обозримом пространстве видать было более десятка дубасов, или тумбасов, и узких черных казацких челнов, обшитых тростником и в обиходе называемых чайками. Часть этих суденышек плыла по течению, сносимая быстрою водой, часть – трудолюбиво взбиралась вверх по реке, понуждаемая веслами и парусом. Одни везли в побережные города рыбу, воск, соль и сушеные вишни, другие возвращались из мест населенных, груженные запасами провианта для Кудака и товарами, пользовавшимися спросом на Крамном базаре в Сечи. Днепровские берега за устьем Псла были уже совершенно пустынные, и лишь кое-где по ним белелись казацкие зимовники; река была как бы большою дорогою, связывавшей Сечь с остальным миром, потому и движение по ней было довольно значительно, особенно когда полая вода облегчала судоходство и когда даже пороги, исключая Ненасытец, делались для судов, плывущих вниз по реке, преодолимыми.

Наместник с любопытством приглядывался к речной этой жизни, а тем временем челны его быстро устремлялись к Кудaku. Туман поредел. Над головами носились тучи птиц: пеликанов, диких гусей, журавлей, уток, чибисов, кроншнепов и чаек; в прибрежных камышах стоял такой гвалт, такой плеск воды и шум крыльев, что казалось, происходят там птичьи сеймы или побоища.

За Кременчугом берега сделались ниже и открытее.

– Поглядите-ка, ваша милость! – внезапно воскликнул Редзян, – вроде оно солнце жжет, а на полях снегу полно.

Скшетуский взглянул – и действительно, куда ни достигал взор, некий белый покров блистал в солнечных лучах по обе стороны реки.

– Эй, набольший! А что это там белеет? – спросил он старшего лодочника.

– Вишни, пане! – ответил набольший.

И правда, были это вишенные леса, состоящие из карликовых деревьев, которыми густо поросли оба берега за устьем Псла. Плоды этих вишенников, сладкие и крупные, составляли по осени корм птицам, зверям и заплутавшим в этой глухомани людям, а также были предметом торговли, отвозимым на байдаках до самого Киева и далее. Сейчас леса стояли в цвету. Чтобы дать отдохнуть гребцам, подошли к берегу, и наместник с Редзяном высадились, желая поближе разглядеть эту заросль. Их окутал такой пьянящий аромат, что просто нечем было дышать. Без счета лепестков уже осыпали землю. Местами деревца составляли непроходимую чащу. Между вишен обильно рос и дикий карликовый миндаль, весь в розовых цветах, издающих совсем уже сильный запах. Миллионы шмелей, пчел и ярких бабочек носились над этим пестрым цветочным морем, конца и края которому не было видно.

– Чудеса, пане, чудеса! – говорил Редзян. – И отчего здесь люди не селятся? Зверя тут, как я погляжу, тоже хватает.

Меж вишенных кустов прыскали русаки и беляки, а также бесчисленные стайки больших голубоногих перепелов, каковых несколько Редзян подстрелил из штуцера, но, к великому своему огорчению, узнал потом от набольшего, что мясо этих птиц ядовито.

На мягкой земле видны были следы оленей и сайгаков, а издалека доносились звуки, напоминавшие похрюкивание вепрей.

Дорожные наши, наглядевшись и отдохнув, двинулись дальше. Берега делались то высокими, то плоскими, открывая взору дивные дубравы, леса, урочища, курганы и привольные степи. Окрестности представлялись столь великолепными, что Скшетуский невольно задавал себе Редзянов вопрос: отчего здесь люди не селятся? Увы, для этого необходимо было, чтобы еще какой-нибудь Иеремия Вишневецкий взял под свою руку эти пустоши, благоустроил их и оборонил от покусительства татар и низовых. Местами река образовывала рукава, излучины, заливала яры, пенной волной била в прибрежные утесы и совершенно заполняла темные пещеры в скалах. В таких пещерах и рукавах устраивались тайники и убежища. Устья рек, заросшие лесом тростников, очерета и камыша, изобиловали всяческой птицей; словом, мир дикий, местами обрывистый, местами низинный, совершенно безлюдный и таинственный открылся взорам путешественников наших.

Плаванье становилось докучным, так как из-за теплой погоды появились тучи кусачих комаров и разных неведомых в сухой степи насекомых; некоторые из них были толщиной с палец, и после их укуса кровь бежала струйкой.

Вечером приплыли к острову Романовка, огни которого завиднелись еще издалека, и остановились там на ночлег. У рыбаков, прибежавших поглядеть на отряд наместника, рубахи, лица и руки были густо смазаны дегтем для защиты от насекомых. Были эти люди грубого нрава и дикие; они во множестве съезжались сюда по весне ловить и вялить рыбу, которую затем отвозили в Чигирин, Черкассы, Переяслав и Киев. Занятие это было нелегкое, зато выгодное из-за обилия рыбы, которая летом становилась для этих мест даже бедствием, подыхая от недостатка воды в старицах и так называемых тихих куточках и заражая тлением воздух.

От рыбаков наместник узнал, что низовые, рыбачившие тут, уже несколько дней как покинули остров и подались по призыву кошевого атамана на Низовье. Кроме того, во всякую ночь с острова видны были костры, которые жгли в степи спешившие на Сечь беглые. Рыбакам было известно, что готовится поход «н а л я х і в», и они это вовсе не скрывали от наместника. Скшетуский поневоле подумал, что его экспедиция и в самом деле, кажется, запоздала, и похоже, прежде чем доберется он до Сечи, полки молодцев двинутся на север; однако ему велено было ехать, и, как исправный солдат, он не рассуждал, намереваясь достичь хоть бы и самое сердце запорожского стана.

Назавтра с утра отправились дальше. Миновали чудный Тарентский Рог, Сухую Гору и Конский Острог, известный своими трясинами и множеством гадов, каковые его непригодным для житья делали. Здесь уже все: и дикость округи, и торопливость течения – предвещало близость порогов. Но вот на горизонте завиднелась Кудакская башня. Первый этап путешествия был закончен.

Однако в тот вечер наместник в замок не попал, ибо у пана Гродзицкого после объявления перед закатом вечернего пароля из замка никто не выпускался и в замок никого не пускали; пусть бы хоть сам король приехал, ему пришлось бы ночевать в Слободке, расположенной перед валом.

Именно так поступил и наместник. Ночлег был не очень-то удобный, потому что мазанки в Слободке, которых насчитывалось около шестидесяти, были такие крошечные, что в некоторые приходилось вползать на четвереньках. Других строить не стоило: крепость при каждом татарском набеge сжигала строения дотла, чтобы не создавать нападающим прикрытия и безопасных подступов к валам. Проживали в этой Слободке люди «захожи», то есть приблудившиеся из Польши, Руси, Крыма и Валахии. Каждый тут верил в своего бога, но до этого никому

не было дела. Землю пришлые люди не пахали из-за опасности от Орды, кормились рыбой и привозным с Украины хлебом, пили просяную палянку, занимались ремеслами, за что их в замке очень ценили.

Наместник глаз не сомкнул из-за невыносимого смрада конских шкур, из которых в Слободке выделяли ремни. На зорьке следующего дня, едва прозвонили и протрубили побудку, он сообщил в замок, что прибыл в качестве княжеского посла и просит его принять. Гродзицкий, у которого еще был свеж в памяти визит князя, вышел навстречу собственной персоной. Был это пятидесятилетний человек, одноглазый, точно циклоп, угрюмый, ибо, сидя в глухомани на краю света и не видя людей, одичал, а обладая безграничной властью, исполнился суровости и чувства собственного достоинства. Лицо его было обезображено оспой, а также изукрашено сабельными шрамами и метинами от татарских стрел, белевшими на темной коже. Однако служака он был верный, сторожкий, точно журавль, и глаз с татар и казаков не спускал. Пил он только воду, спал не более семи часов, часто вскакивая среди ночи проверить, не дремлет ли стража на валах, и за малейший проступок незамедлительно казнил провинившихся. К казакам доброжелательный, хоть и грозный, он завоевал их уважение. Когда случался зимой на Сечи голод, Гродзицкий помогал хлебом. В общем, был это русин покроя тех, кто некогда с Пшецлавом Ланцкоронским и Самеком Зборовским в степи хаживали.

– Выходит, ты, сударь, на Сечь едешь? – спросил он Скшетуского, предварительно проведя его в замок и от души угостив.

– На Сечь. Какие, ваша милость комендант, у тебя оттуда новости?

– Война! Кошевой атаман со всех луговин, речек и островов людей созывает. С Украины беглые тянутся, которым я мешаю, как могу. Войска там собралось тысяч тридцать, а может, и поболее. Когда же они на Украину двинутся и к ним городовые казаки с чернью присоединятся, будет их сто тысяч.

– А Хмельницкий?

– Со дня на день из Крыма с татарами ожидается. Может, уже прибыл. Сказать по совести, зря ты, сударь, на Сечь желаешь ехать, ибо вскорости тут их дождешься. Кудак они не минуют и в тылу его не оставят, это точно.

– А ты отобьешься, ваша милость?

Гродзицкий угрюмо глянул на гостя и ответил отчетливо и спокойно:

– А я не отобуюсь...

– Это как же?

– Пороху у меня нету. Челнов двадцать послал, чтобы мне хоть сколько прислали, – и не шлют. Не знаю – перехвачены ли посланные или у самих там нехватка; знаю только, что до сих пор не прислали. А моего хватит недели на две – и все. Будь у меня сколько надо, я бы скорее Кудак и самого себя взорвал, но казацкая нога сюда бы не ступила. Велено мне тут сидеть – сижу, велено держать ухо востро – держу, сказано зубы показывать – показываю, а если сгинуть придется – раз м а т и р о д и л а – и на это готов.

– А сам ты, ваша милость, не можешь пороху приготовить?

– Считаю, уже два месяца запорожцы селитру ко мне не пропускают, а ее с Черного моря возить нужно. Все к одному. Что ж, и погибну!

– Нам с вас, старых солдат, пример бы брать. А если б тебе самому, ваша милость, за порохом двинуться?

– Любезный сударь, я Кудак оставить не могу и не оставлю; здесь была моя жизнь, здесь и смерть моя будет. Да и ты, сударь, не рассчитывай, что на брашна и обильные пиры едешь, каковыми обычно послов принимают, или же что тебя там неприкосновенность посольская убережет. Они даже собственных атаманов убивают, и, пока я тут, не упомяну, чтобы хоть кто из атаманов своей смертью умер. Погибнешь и ты.

Скшетуский молчал.

– Вижу я, дух в тебе слабнет. Так что лучше не езд.

– Досточтимый комендант! – с гневом ответил наместник. – Придумай же что-нибудь пострашнее меня запугать, ведь то, что ты говоришь, слышал я уже раз десять, а коли ты не советуешь мне ехать, я понимаю это так, что сам ты на моем месте не поехал бы; рассуди же в таком случае, пороку ли тебе только или еще отваги для обороны Кудака недостает.

Гродзицкий, вместо того чтобы осерчать, глянул на наместника благосклоннее.

– Зубастая щука! – буркнул он по-русински. – Извиняй, ваша милость. По ответу твоему вижу я, что не уронишь ты *dignitatem*<sup>52</sup> княжеского и шляхетской чести. Дам я тебе посему пару чаек, ибо на байдаках пороги не пройдешь.

– Об этом и я тоже намеревался просить вашу милость.

– Мимо Ненасытца вели их тащить волоком; хоть вода и высокая, но там никогда проплыть невозможно. Разве что какая-нибудь махонькая лодчонка проскочит. А когда окажешься на низкой воде, будь настороже и помни, что железо со свинцом красноречивее слов. Там уважают только смелых людей. Чайки назавтра будут готовы; я лишь велю на каждой второе кормило поставить – одним на порогах не обойдешься.

Сказав это, Гродзицкий вывел наместника из жилья, чтобы познакомить его с замком и внутренней службой. Везде соблюдался образцовый порядок и послушание. Часовые чуть ли не вплотную друг к другу день и ночь караулили на валах, непрерывно укрепляемых и подправляемых пленными татарами.

– Каждый год на локоть валы подсыпаю, – сказал Гродзицкий, – и они уже столь высоки, что, имея я довольно пороку, сто тысяч мне ничего не сделают, но без пальбы я не продержусь, если штурмовать будут.

Фортиция действительно была неодолима: кроме пушек, ее защищали днепровские кручи и неприступные скалы, отвесно уходящие в воду; ей даже большой гарнизон был не нужен. В замке и насчитывалось не более шестисот человек, но зато солдат отборнейших, вооруженных мушкетами и пищалями. Днепр, протекая в том месте стиснутым руслом, был столь узок, что стрела, пущенная с вала, улетала далеко на другой берег. Замковые пушки господствовали над обоими берегами и над всею окрестностью. Кроме того, в полумиле от крепости стояла высокая башня, с коей на восемь миль вокруг было видно, а в ней находилась сотня солдат, которых Гродзицкий всякий день навещал. Они-то, заметив что-нибудь в округе, тотчас давали знать в замок, и тогда в крепости били в колокола, а весь гарнизон вставал в ружье.

– Недели не проходит, – рассказывал пан Гродзицкий, – без тревоги, потому что татары, как волки, стаями по несколько тысяч тут слоняются; мы же их из пушек бьем, как умеем, а иногда табуны диких лошадей дозорные за татар принимают.

– И не осточертело вашей милости сидеть в такой глухомани? – спросил Скшетуский.

– Дай мне место в покоях королевских, не променял бы. Я отсюда поболее вижу, чем король из окошка своего в Варшаве.

И действительно, с вала открывался необозримый степной простор, казавшийся сейчас сплошным морем зелени; на севере – устье Самары, на юге – весь путь днепровский: скалы, обрывы, леса, – вплоть до кипени второго порога, Сурского.

Под вечер побывали еще и в башне, ибо Скшетуский, впервые навестив эту затерянную в степях фортицию, всем интересовался. Между тем в Слободке готовились для него чайки, оборудованные с носа вторым кормилом для лучшей управляемости. Назавтра с утра наместнику предстояло отплыть. В течение ночи, однако, он почти не ложился, обдумывая, как надлежит поступить в предвидении неминуемой гибели, которою грозило посольство в страшную Сечь. Хотя жизнь и улыбалась ему, ведь был он влюблен и молод, а жить ему предстояло с любимой, все равно ради жизни он не мог поступиться честью и достоинством. Еще подумал

<sup>52</sup> достоинства (лат.).

он, что вот-вот начнется война, что Елена, ожидая его в Разлогах, может оказаться в сердце чудовищного пожара, беззащитная против домогательств не только Богуна, но и разгулявшегося озверелого сброда, и мучительная тревога за нее терзала ему сердце. Степь, верно, уже подсохла, уже наверняка можно было из Разлогов двинуться в Лубны, а он сам же наказал Елене и княгине ждать своего возвращения, не предполагая, что гроза разгуляется так скоро, не зная, чем грозит ему поездка на Сечь. Вот и ходил он теперь туда-назад по замковой комнате, тер подбородок и ломал руки. Что предпринять? Как поступить? Мысленно уже видел он Разлоги в огне, окруженные воющей чернью, более на бесов, чем на людей, похожею. Собственные его шаги отдавались угрюмым эхом под сводами, а ему казалось, что это злобные силы идут за Еленой. На валах протрубили гасить огни, а ему мерещилось, что это отголоски Богунова рога, и скрежетал он зубами и за рукоять сабли хватался. Ах, зачем напросился он в эту поездку и Быховца от нее избавил!

Волнение хозяина заметил пан Редзян, спавший у дверей, а посему встал, протер глаза, подправил факелы, торчавшие в железных обручах, и стал крутиться по комнате, желая привлечь внимание Сکشетуского.

Однако наместник, совершенно погруженный в горестные свои раздумья, продолжал расхаживать, будя шагами уснувшее эхо.

– Ваша милость! А ваша милость!.. – сказал Редзян.

Сکشетуский поглядел на него невидящим взглядом и вдруг как бы очнулся.

– Редзян, ты смерти боишься? – спросил он.

– Кого? Как это смерти? Что это вы, сударь, говорите?

– Кто на Сечь едет, тот не возвращается.

– Так чего же вы тогда, ваша милость, едете?

– Мое дело. Ты в это не мешайся. Но тебя мне жаль, ты еще мальчишка, и хотя плут, но там плутнями немного добыешься. Возвращайся-ка в Чигирин, а потом в Лубны.

Редзян принялся чесать в затылке.

– Я, мой сударь, смерти ой как боюсь, ведь кто ее не боится, тот Бога не боится – его воля упасти или уморить, но раз уж вы, сударь, добровольно на смерть идете, так это вашей милости грех будет, господский; не мой, не слуги; потому я вашу милость и не оставлю. Я ж не холопского звания, а шляхтич, хотя и бедный, и самолюбие тоже имею.

– Знаю я, что ты верный слуга, однако скажу тебе вот что: не поедешь по доброй воле, поедешь по приказу. Другого выхода нету.

– А хоть убейте, ваша милость, не поеду. Что же это ваша милость себе думает, иуда я какой или кто? Выходит, я хозяина на погибель выдать должен?

Тут Редзян, прижав к глазам кулаки, принялся в голос реветь, из чего пан Сکشетуский понял, что таким путем его не проймешь, а жестко приказывать не хотел, так как ему было паренька жаль.

– Слушай, – сказал он, – никакой такой помощи ты мне оказать не сможешь, я ведь тоже добровольно голову под топор класть не стану, но зато отвезешь в Разлоги письма, которые для меня самой жизни важнее. Скажешь там ее светлости и князьям, чтобы тотчас же, без малейшего промедления, барышню в Лубны отвезли, иначе бунт их врасплох застанет. Сам же и присмотришь, чтобы все как надо было сделано. Я тебе важную функцию доверяю, друга достойную, не слуги.

– Пускай ваша милость кого другого пошлет, с письмом всякий поедет.

– А кто у меня тут есть доверенный? Обалдел ты, что ли? Еще раз тебе говорю, спаси ты мне жизнь хоть дважды, а такой службы не сослужишь; я же извелся просто, думая, что с ними станется, и от горя меня лихорадит даже.

– О Господи! Придется, видно, ехать, только мне так жаль вашу милость, что подари мне ваша милость даже этот пояс крапчатый, я бы и то не утешился.



– Будет тебе пояс, только исполни все как следует.

– Не надобно мне и пояса, лишь бы ваша милость ехать с собою позволила.

– Завтра отправишься на чайке, которую Гродзицкий посылает в Чигирин, оттуда, не мешкая и не отдыхая, двинешься прямо в Разлоги. Там ни барышне, ни княгине ничего не говори, что мне что-то грозит, проси только, чтобы сразу, хоть бы даже верхами, хоть бы безо всяких узлов, ехали в Лубны. Вот тебе кошель на дорогу, а письма я сейчас напишу.

Редзян упал в ноги наместнику.

– Пане мой! Ужели я вас более не увижу?

– Как Богу будет угодно, как Богу будет угодно! – ответил, поднимая его, наместник. – Но в Разлогах гляди веселей. А сейчас ступай спать.

Остаток ночи Скшетуский провел за писанием писем и в жаркой молитве, после которой слетел к нему ангел успокоения. Тем временем ночь поблекла, и рассвет выбелил узкие оконца на восточной стене. Утрело. Вот и розовые блики скользнули в комнату. На башне и в замке пробили зорю. Вскоре постучался Гродзицкий.

– Сударь наместник, чайки готовы.

– И я готов, – спокойно ответил Скшетуский.

## Глава X

Стремительные челны неслись по течению, словно ласточки, унося молодого рыцаря и его судьбину. Из-за высокой воды пороги особой опасности не представляли. Миновали Сурский, Лоханский, счастливая волна перенесла чайки через Воронову Забору; проскрежетали они, правда, по дну Княжьего и Стреличьего, но чуть-чуть – коснулись только, не разбились; и вот, наконец, вдали завиднелась пена и водовороты страшного Ненасытца. Здесь приходилось высаживаться, а чайки тащить волоком посуху. Эта медленная и тяжелая работа обычно отнимала целый день. К счастью, от прошлых, видимо, волоков по всему берегу лежало множество бревен, которые подкладывались под челны для удобства волочения по грунту. Во всей округе и в степи не было ни души, на реке не виднелось ни одной чайки – плыть на Сечь не мог уже никто, кроме тех, кого Гродзицкий мимо Кудака пропускал, но Гродзицкий-то как раз намеренно отрезал Запорожье от остального мира. Так что тишину нарушал только грохот волн о скалы Ненасытца. Пока люди волокли чайки, Скшетуский обозревал это поразительное диво природы. Ужасающее зрелище потрясло его взор. Во всю ширину поперек реки шли семь каменных преград, торчавших из воды, черных, изглоданных волнами, проломившими в них подобия ворот и проходов. Река всею тяжестью воды своей ударяла в эти преграды и отлетала назад, взбешенная, обезумевшая, вспененная белыми кипящими брызгами, потом, точно неукротенный скакун, делала еще одну попытку перескочить их, но, отброшенная еще раз, прежде чем изловчиться хлынуть через проломы, зубами, можно сказать, вгрызалась в скалы, закручивалась в бессильной ярости в чудовищные водоверты, столбами взлетала вверх, вскипала кипятком и, как усталый зверь дикий, тяжело отдувалась. И опять – словно бы канонада сотни пушек, вой целых волчьих стай – всхрапнет, поднатужится, и перед новой грядой точно такая же борьба, такое же безумие. А над безднами вопли птиц, словно потрясенных этим зрелищем, а между грядами угрюмые тени скал, дрожащие на топкой грязи, словно тени злых духов.

Люди, тянувшие челны, привычные, вероятно, ко всему этому, только осенялись крестным знаменем, остерегая наместника, чтобы не очень-то подходил к воде. Существовало поверье, что тому, кто долго глядел на Ненасытец, в конце концов являлось такое, отчего мутился разум, а еще говорили, что из водокрутней иногда высывались длинные черные руки и хватали неосторожно приблизившихся, и тогда жуткий хохот раздавался в пучине.

По ночам перетаскивать волоком чайки боялись даже запорожцы.

Того, кто в одиночку не преодолевал на чайке порогов, в низовое товарищество не принимали, однако Ненасытец был исключением, ибо его скалы вода никогда с верхом не покрывала. Разве что про Богуна пели слепцы, будто он и через Ненасытец проплыл, да только никто не верил этому.

Перетаскивание суденышек заняло почти целый день, и солнце уже клонилось к закату, когда наместник снова ступил в лодку. Последующие пороги преодолели без труда, ибо они вполне были залиты водою, а затем путешественники наконец выбрались в «тихие низовые воды».

По пути видел пан Скшетуский на Кичкасовом урочище громадную грудку белых камней, которую князь в память своего здесь пребывания велел насыпать и про которую пан Богуслав Маскевич рассказывал в Лубнах. Отсюда до Сечи было уже недалеко, но так как наместник по Чертомлыцкому лабиринту не хотел ночью плыть, решили заночевать на Хортице.

Он надеялся встретить хоть одну живую запорожскую душу и предварительно дать знать о себе, дабы стало известно, что посол, а не другой какой человек едет. Однако Хортица казалась безлюдной, и это несколько удивило наместника, ибо от Гродзицкого было известно, что тут на случай татарской инкурсии всегда находится казачий отряд. Скшетуский с несколь-

кими солдатами ушел на разведку довольно далеко от берега, но весь остров пересечь не успел, ибо в длину остров был больше мили, а уже опускалась темная и не очень погожая ночь; так что пришлось вернуться к чайкам, которые тем временем люди его повытаскивали на берег, успев еще и разжечь костры от комаров.

Большая часть ночи прошла спокойно. Солдаты и перевозчики спали у костров. Не смыкали глаз только часовые, а с ними и наместник, которого после отплытия из Кудака мучила жестокая бессонница. Вдобавок его еще и сильно лихорадило. Временами чудилось ему, что он слышит шаги, приближающиеся из глубины острова, или какие-то странные голоса, напоминавшие отдаленное козье блеяние. Однако он решил, что ему мерещится.

Вдруг, когда стало светлеть небо, перед ним возникла темная фигура.

Это был один из часовых.

– Пане, идут! – хмуро сказал он.

– Кто такие?

– Надо быть, низовые: человек сорок.

– Хорошо. Это немного. Поднимай людей! Камыша подбросить!

Солдаты мгновенно вскочили. Подкормленные костры взметнули пламя и осветили чайки, а возле них горстку людей наместника. Тут же к своим присоединилась и стража.

Между тем нестройные шаги множества людей слышались уже вполне отчетливо: в некотором отдалении они стихли, зато чей-то угрожающий голос спросил:

– А кто там на берегу?

– А вы кто? – откликнулся вахмистр.

– Отвечай, вражий сын, не то из пищали спрошу!

– Его светлость господин посол от светлейшего князя Иеремии Вишневецкого к кошевому атаману, – громко возгласил вахмистр.

Голоса в невидимой толпе смолкли: как видно, там стали тихо совещаться...

– А выходи-ка сюда! – снова крикнул вахмистр. – Не бойсь. Послов не трогают, но и послы не тронут.

Снова прозвучали шаги, и спустя малое время несколько десятков фигур возникли из темноты. По смуглым лицам, низкорослости и кожухам, вывернутым мехом наружу, наместник сразу понял, что это в основном татары. Казаков было человек десять. В голове Скшетуского молнией промелькнуло, что если татары на Хортице, значит, Хмельницкий уже вернулся из Крыма.

Предводительствовал толпою исполинского роста пожилой запорожец с лицом диким и жестоким. Подойдя к костру, он спросил:

– А который тут посол?

И сразу же стал слышен сильный запах горелки – запорожец был, как видно, пьян.

– Который же тут посол? – повторил он.

– Я посол, – с достоинством ответил пан Скшетуский.

– Ты?

– Брат я тебе разве, тыкать?

– Знай, хам, уважение! – вмешался вахмистр. – Полагается говорить: ясновельможный пан посол!

– На погибель же вам, чертові сини! Щоб вам серп'яховасмерть! Ясновельможні сини! А за чем это вы до атамана?

– Тебя не касается! А жизнь твоя от того зависит, как скоро посол до атамана прибудет.

Тут и другой запорожец вышел из толпы.

– А мы ж тут по воле атамана, – сказал он, – стережем, чтобы никто о д л я х і в не приходил, а кто придет, того, сказано, вязать и доставлять, что мы и сделаем.

– Кто идет добровольно, того вязать не будешь.

– Б у д у, б о т а к и й н а к а з.

– А знаешь ли ты, холоп, что такое особа посла? А знаешь ли, кого я тут представляю?

Тут вмешался пожилой верзила.

– З а в е д е м п о с л а, а л е з а б о р о д у – от так!

Сказавши это, он потянулся к подбородку наместника, но в ту же секунду охнул и, словно пораженный громом, грянулся наземь.

Наместник разрубил ему череп чеканом.

– Коли, коли! – дико завывали голоса в толпе.

Княжеские люди бросились на помощь своему командиру, бахнули самопалы, вопли «коли! коли!» смешались с лязгом железа. Закипела беспорядочная схватка. Затоптанные в суматохе костры погасли, и темнота обступила сражающихся. Вскоре и те, и те сошлись столь близко, что не осталось места для замаха, так что ножи, кулаки и зубы пошли в ход вместо сабель.

Внезапно из глубины острова слышались многие крики и голоса: к нападавшим спешило подкрепление.

Еще минута, и оно бы подоспело слишком поздно, поскольку хорошо обученные солдаты одерживали верх.

– К лодкам! – громовым голосом крикнул наместник.

Весь отряд вмиг выполнил приказание. К несчастью, чайки, слишком далеко вытянутые на песок, невозможно было теперь столкнуть в воду.

А неприятель между тем в ярости прорвался к берегу.

– Огонь! – скомандовал Скшетуский.

Залп из мушкетов сразу остановил нападающих, они смешались, скучились и в беспорядке отступили, оставив на песке десятка полтора своих; некоторые из поверженных конвульсивно дергались, точно рыбы, вытянутые из воды и брошенные на берег.

Весельщики в это время с помощью нескольких солдат, уперев в землю весла, выбивались из последних сил, пытаясь столкнуть суденышки на воду. Увы, безрезультатно.

Неприятель начал атаковать издалека. Шлепки пуль по воде смешались со свистом стрел и стонами раненых.

Татары, все истощнее взывая к аллаху, подзадоривали друг друга. Им вторили казацкие крики «коли! коли!» и спокойный голос Скшетуского, все чаще повторявший:

– Пли!

Бледное свечение рассветных небес осветило битву. Со стороны суши можно было различить толпу казаков и татар, одних с лицами у пищальных прикладов, других – откинувшихся назад и натягивавших луки; со стороны реки – две чайки, клубящиеся дымами и сверкающие регулярными залпами. Меж теми и другими лежали на песке неподвижные уже тела.

В одном из челнов стоял Скшетуский, возвышавшийся над остальными, гордый, спокойный с поручицкой булавою в руке и с непокрытой головой – татарская стрела сорвала с него шапку.

К нему приблизился вахмистр и шепнул:

– Пане, не сдюжим, их много!

Однако наместник заботился теперь лишь о том, чтобы посольство свое скрепить кровью, унижения достоинства не допустить и умереть со славою. Поэтому, меж тем как его солдаты устроили себе из мешков с провиантом нечто вроде бруствера, из-за которого разили неприятеля, сам он отчетливой мишенью стоял на виду.

– Что ж, – ответил он, – поляжем все до единого.

– Поляжем, б а т ь к у! – отозвались солдаты.

– Пли!

Чайки снова заволокло дымом. Из глубины острова стали появляться новые толпы, вооруженные пиками и косами. Нападающие теперь разделились на две группы. Одна не прекращала огня, вторая, состоявшая из двух приблизительно сотен казаков и татар, ожидала подходящей минуты, чтобы броситься врукопашную, а из прибрежных зарослей появились четыре челна, собиравшиеся ударить по наместнику с тыла и флангов.

Уже совсем рассвело, однако дым, протянувшись долгими лентами, совершенно заслонял поле боя.

Наместник приказал двадцати солдатам повернуться к атакующим судам, которые, понуждаемые веслами, неслись по спокойной речной воде с быстротою птиц. Огонь по татарам и казакам, наступавшим со стороны берега, поэтому заметно ослабел.

Они, как видно, этого и ждали.

Вахмистр снова появился возле наместника.

– Пане! Татарва ножи в зубы берет, сейчас на нас пойдут.

Сотни три ордынцев с саблями в руках и с ножами в зубах готовились к атаке. К ним присоединилось несколько десятков запорожцев, вооруженных косами.

Атака должна была начаться отовсюду, потому что челны противника подплыли уже на расстояние выстрела. Борты их за клубились дымками. Пули, точно град, посыпались на людей наместника. Обе чайки наполнились стоном. Не прошло и десяти минут, как половина солдат была перебита, оставшиеся в живых отчаянно сопротивлялись. Лица их почернели от дыма, руки одеревенели, взор туманился, кровь заливала очи, дула мушкетов стали обжигать руки. Большинство были ранены.

Но вот жуткие вопли и вой сотрясли воздух. Это пошли в атаку ордынцы.

Дымы, разметанные толпами бегущих, внезапно рассеялись и открыли взору обе наместниковы чайки, покрывшиеся черною кучей татар, похожие на два лошадиных трупа, разрываемые стаей волков. Куча эта наседала, копошилась, выла, карабкалась и, казалось, сражаясь сама с собою, гибла. Десятка два солдат все еще оборонялись, а возле мачты стоял пан Скшетуский с окровавленным лицом, со стрелой, до оперения сидевшей в левом плече его, и яростно защищался. Фигура наместника выглядела исполинской среди окружавшей его толчеи, сабля мелькала, точно молния. Ударам ее вторили стоны и вой. Вахмистр и один солдат прикрывали его с боков, и толпа в ужасе перед этими троими то и дело откатывалась, но, теснимая напавшими сзади, сама напирала и гибла под сабельными ударами.

– Живыми брать для атамана! – вопили голоса в куче. – Сдавайся!

Но пан Скшетуский сдавался теперь разве что Богу, ибо вдруг побледнел, зашатался и рухнул на дно лодки.

– П р о щ а й, б а т ь к у! – в отчаянии крикнул вахмистр.

Но спустя мгновение тоже рухнул. Кишащая толпа вовсе покрыла собою чайки.

## Глава XI

В хате войскового кантарей<sup>53</sup> в предместье Гасан Баша, в Сечи, за столом сидели два запорожца, подкрепляясь палянкой из проса, которую то и дело черпали из деревянной лоханки, стоявшей посреди стола. Один – старый, почти уже совсем дряхлый, был сам кантарей Фылып Захар, другой был Антон Татарчук, атаман чигиринского куреня, лет около сорока, высокий, сильный, с диким выражением лица и раскосыми татарскими глазами. Оба тихо, словно опасаясь, что их подслушают, разговаривали.

– Оно, значит, сегодня? – спросил кантарей.

– Прямо вот-вот, – ответил Татарчук. – Ожидают только кошевого и Тугай-бея, который с самим Хмелем на Базавлук поехал, потому что орда стоит там. Товарищество уже на майдане, а куренные еще засветло соберутся на раду. До ночи все известно станет.

– Гм! Плохо может быть, – буркнул старый Фылып Захар.

– Слухай, кантарей, ты правда видал, что и мне письмо было?

– Известно, видал, если сам кошевому письма относил, а я человек грамотный. При ляхе три письма нашли: одно до самого кошевого, второе тебе, третье молодому Барабашу. Об том уже вся Сечь знает.

– А кто писал? Не знаешь?

– Кошевому – князь: на письме печать была; кто вам – неизвестно.

– С о х р а н и Б о г!

– Если тебя в письме явно другом ляхов не называют, то обойдется.

– С о х р а н и Б о г! – повторил Татарчук.

– А может, ты и сам чего за собой знаешь?

– Тьфу! Ничего я за собой не знаю.

– Может, кошевой письма в ход не пустит, потому как и ему своя голова дорога. Ему ведь тоже письмо было.

– А что ж...

– Но ежели ты чего за собой знаешь, тогда... – Тут старый кантарей еще более понизил голос: – Беги!

– Как это? Куда? – беспокойно спросил Татарчук. – Кошевой по островам дозоры поставил, чтобы никто к ляхам не ушел и про здешние дела не донес. На Базавлуке стерегут татары. Рыба не проплывет, птица не пролетит.

– Тогда спрячься, ежели можешь, в Сечи.

– Найдут. Разве что ты меня тут на базаре между бочками спрячешь? Ты ведь сродник мне!

– И брата родного не стал бы прятать. А если смерти боишься, напейся: пьяный ничего не почувешь.

– Может, в письмах ничего и нету?

– Может быть...

– От беда! От беда! – сказал Татарчук. – Ничего за собой я не знаю. Я добрый молодец. Ляхам враг. Да хоть бы ничего в письме и не стояло, бес его знает, что лях на раде выложит. Он же меня погубить может.

– Э т о с е р д и т и й л я х: он ничего не выложит!

– Ты был у него сегодня?

---

<sup>53</sup> Воинский чиновник на Запорожье, надзирающий за мерами и весами в лавках так называемого Крамного базара в Сечи. – *Примеч. автора.*

– Был. Раны помазал дегтем, горелки с пеплом в горло налил. Очухается. Это сердитый лях! Говорят, прежде, чем его взяли, он татар, как свиней, на Хортице порезал. Ты за ляха не беспокойся.

Угрюмый голос сечевого барабана прервал дальнейшую беседу. Татарчук, услышав гулкие удары, содрогнулся и вскочил. Необычайною тревогою исполнилось выражение лица его и все движения.

– На раду зовут, – сказал он, ловя ртом воздух. – С о х р а н и Б о г! Ты, Фылып, не открывай, о чем мы с тобою тут разговаривали. С о х р а н и Б о г!

Сказав это, Татарчук схватил лоханку с водкой, поднес ее обеими руками ко рту, наклонил и стал жадно пить, словно спешил мертво напиться.

– Пошли! – сказал кантарей.

Барабан бил все настойчивее.

Они вышли. Предмесье Гассан Баша было отделено от майдана валом, окружавшим непосредственно кош, и воротами с высокой башнею, с которой глядели жерла поднятых на нее пушек. Посреди предмесья стоял кантареев дом и хаты крамных атаманов, вокруг же довольно обширной площади располагались сараи, в коих помещались лавки. Это были сплошь неказистые постройки, кое-как сложенные из поставляемых в изобилии Хортицей дубовых бревен, а по бревнам обшитые ветками и очеретом. Сами хаты, не исключая жилища кантарей, более походили на шалаши, ибо только крыши их возвышались над землею. Крыши эти были черные и закопченные, потому что, если в хате палили огонь, дым выходил не только через верхнее отверстие в кровле, но и сквозь всю обшивку, и тогда казалось, что это никакая не хата, а просто грудa веток и очерета, в которой сидят смолу. В жилищах этих царил вечный мрак, поэтому внутри постоянно жгли или лучину, или дубовое пеньё. Лавочных сараев было несколько десятков, и подразделялись они на куренные, то есть представляющие собой собственность отдельных куреней, и гостинные, где в недолгие мирные поры заводили торговлю татары и валахи, – одни кожами, восточными тканями, оружием и всяческим награбленным добром, другие, как правило, вином. Гостинные лавки, однако, бывали заняты редко, ибо торговля в этом диком логове чаще всего кончалась разграблением, от чего ни кантарей, ни крамные атаманы толпу удержать не могли. Меж сараев также кособочились тридцать восемь куренных шинков, а возле них среди мусора, щепок, дубовых поленьев и куч конского навоза всегда лежали мертво пьяные запорожцы, одни забывшиеся каменным сном, другие с пеною на устах, в судорогах или приступах запойной горячки. Их товарищи, завывая казацкие песни, плюясь, дерясь или целуясь, проклиная казацкую судьбину или плача над казацкой долей, наступали на головы и тела лежащих. Только с момента, когда затевался, скажем, какой-нибудь поход на татар или на Русь, закон обязывал трезвость, и тогда участников похода смертью за пьянство карали. Но в остальное время и особенно на Крамном базаре почти все были пьяны: кантарей и крамные атаманы, продавец и покупатель. Кислый запах скверной водки заодно с запахами смолы, дыма и конских шкур вечно стоял по всему предмесью, которое пестротою лавок своих скорее напоминало какой-то татарский или турецкий городишко. В лавках этих продавалось все, что где-нибудь в Крыму, Валахии или на анатолийских берегах удалось наgrabить: яркие восточные ткани, парча, алтабас, сукна, аксамиты, набойка, тик и полотно, медные и железные треснутые пушки, кожи, меха, сушеная рыба, вишни и турецкое сухое варенье, костельная утварь, латунные полумесяцы, уворованные с минаретов, и позлащенные кресты, сорванные с церквей<sup>54</sup>, порох, холодное оружие, ратовища для пик и седла. А среди мешанины товаров, среди этой пестроты слонялись люди, одетые в обноски самой разной одежды, летом полуна-

---

<sup>54</sup> Запорожцы во время своих набегов не щадили никого и ничего. До появления Хмельницкого церквей на Сечи вообще не было. Первую как раз и поставил Хмельницкий; там никого о вере не спрашивали, и то, что рассказывают о религиозности низовых, сказки. – *Примеч. автора.*

гие, всегда полудикие, закопченные, черные, вываливавшиеся в грязи, покрытые кровоточащими ранами от укусов громадных комаров, мириады которых носились над Чертомлыком, и, – как уже было сказано, – вечно пьяные.

В эти минуты в Гассан Баша людей было куда больше, чем всегда; лавки и шинки позакрывали, так как все спешили на сечевой майдан, где должна была собраться рада. Фылып Захар и Антон Татарчук отправились вместе с прочими, но Антон медлил, шел как-то нехотя и давал толпе обогнать себя. Тревога все заметнее отражалась на его лице. Они прошли по мосту через ров, затем вошли в ворота и оказались на обширном укрепленном майдане, окруженном тридцатью восемью большими деревянными строениями. Это и были курени, а точнее, куренные дома – род воинских казарм, в которых жили казаки. Одинаковой величины и размеров, курени эти ничем друг от друга не отличались, разве что названиями, происходившими от различных украинских городов – теми же названиями именовались и полки. В одном углу майдана находился дом рады, в нем и заседали атаманы под председательством кошевого; толпа же, или так называемое товарищество, совещалась под голым небом, то и дело посылая депутации к войсковой старшине, а порою силой врываясь в помещение рады и навязывая свою волю совещанию.

На майдане уже было огромное скопление народу, поскольку к этому времени кошевым атаманом были стянуты на Сечь все войска, стоявшие по островам, речкам и луговинам, отчего и товарищество сделалось многолюднее, чем всегда. Солнце клонилось к закату, поэтому заблаговременно запалили десятка полтора бочек со смолой; тут и там появились бочонки с водкою – эти каждый курень выкатывал для своих, дабы придать больше жару совещаниям. Порядок в куренях поддерживали есаулы, вооруженные тяжеленными дубинками для острастки совещавшихся и пистолями для защиты собственной жизни, которая нередко оказывалась в опасности.

Фылып Захар и Татарчук пошли прямо в дом рады, так как первый, будучи кантареем, а второй – куренным атаманом, имели право участвовать в совещаниях. В помещении был всего-навсего маленький стол, за которым сидел войсковой писарь. Куренные и кошевой имели каждый свое место на шкурах у стен. Пока что места эти заняты не были. Кошевой расхаживал большими шагами по зальце, куренные же, сойдясь кучками, тихо разговаривали, то и дело перебивая друг друга громкой бранью. Татарчук заметил, что даже знакомые и друзья словно бы не узнают его, поэтому сразу подошел к молодому Барабашу, который оказался в похожем положении. Все поглядывали на них исподлюбья, на что молодой Барабаш особого внимания не обращал, толком не понимая, в чем вообще дело. Это был человек редкостной красоты и небывалой силы. Силе этой он и был обязан званием куренного атамана, ибо вообще-то славился на Сечи крайней глупостью, которая была причиною того, что прозвали его Дурным Атаманом и всякое Барабашево словцо вызывало немедленный хохот казацких верховодов.

– Поживем малость, тай, может, и пойдем с камнем на шее ко дну! – шепнул ему Татарчук.

– А это почему так? – спросил Барабаш.

– Ты про письма разве не слыхал?

– Т р я с ц я й о г о м а т и м о р д у в а л а! Я, что ли, какие письма писал?

– Вон как все волками глядят.

– К о л и б я к о т о р о г о в л о б, так он бы не глядел; глаза враз бы вытекли.

Между тем по крикам снаружи стало ясно, что там что-то произошло. Двери радной зальцы распахнулись настежь, и вошли Хмельницкий с Тугай-беем. Это их приветствовали так радостно. Еще несколько месяцев назад Тугай-бей, доблестнейший из мурз и гроза низовых, был объектом страшной ненависти всей Сечи – теперь же «товарищество», завидя его, подкидывало шапки, полагая мурзу добрым другом Хмельницкого и запорожцев.



Первым вошел Тугай-бей, потом Хмельницкий с булавой гетмана запорожского войска. Звание это носил он с той поры, как воротился из Крыма с выговоренными у хана подкреплениями. Толпа тогда понесла его на руках и, взломав войсковую скарбницу, вручила булаву, знамя и печать, каковые по заведенному обычаю выносились впереди гетмана. Он порядочно изменился, облик его теперь олицетворял собою страшную силу всего Запорожья. Это был уже не обиженный Хмельницкий, сбежавший на Сечь через Дикое Поле, но Хмельницкий – гетман, кровавый дух, исполин, мстящий миллионам за свою обиду.

А между тем цепей он не разорвал, но возложил на себя новые, более тяжкие. Свидетельством тому были его отношения с Тугай-беем. Сей запорожский гетман в самом сердце Запорожья довольствовался вторым голосом после татарина, смиренно сносил бееву спесь и презрительное сверх всякой меры обхождение. Были это отношения ленника и сюзерена. Иначе оно происходить не могло. Хмельницкий все свое влияние среди казаков завоевал благодаря татарам и ханской милости, знаком которой было присутствие дикого и бешеного Тугай-бея. Однако Хмельницкий умел сочетать непомерную свою гордыню со смирением столь же хорошо, как отвагу с лукавством. Он воплощал в себе льва и лисицу, орла и змею. Впервые с тех пор, как появилось на земле казачество, татарин чувствовал себя хозяином в Сечи; увы, настали и такие времена. Товарищество подбрасывало шапки в честь поганого. Вот как все переменялось.

Рада началась. Тугай-бей уселся посредине на самую высокую грудку шкур, поджал потурецки ноги и стал грызть семечки подсолнухов, сплевывая мокрые скорлупки прямо на пол перед собою. По правую руку от него сел Хмельницкий с булавой, по левую – кошевой атаман; атаманы же и депутация от товарищества расположились у стен поодаль. Разговоры стихли, только снаружи доносился гам и глухой, подобный шуму волн гул толпы, собравшейся под голым небом. Хмельницкий заговорил:<sup>55</sup>

– Досточтимые господа! Милостью, благоволением и покровительством светлейшего крымского царя, властелина народов многих, единокровного светилам небесным, произволением милостивого короля польского Владислава, государя нашего, и доброю волею Войска Запорожского, уверенные в неповинности нашей и справедливости Господней, идем мы отмстить страшные и ужасные кривды, каковые с христианским смирением, пока могли, сносили от коварных ляхов, комиссаров, старост, экономов, многия шляхты и жидов. Над кривдами теми вы уже, досточтимые господа и все Войско Запорожское, немало слез пролили, а мне потому булаву дали, чтобы за обиды наши и всего войска полною мерою способней мне спросить было. Так что я, полагая сие, досточтимые господа благодетели, великой милостью, наисветлейшего царя о помощи просить поехал, которою он нас и подарил. Но, пребывая в рвении и веселье, немало я опечалился, узнав, что возможны меж нас и предатели, с коварными ляхами в сговор вступающие и о нашей решимости им доносящие, и ежели оно на самом деле так, то наказаны они должны быть, досточтимые господа, сообразно разумению и милосердию вашему. А мы просим вас письма выслушать, каковые сюда от недруга, князя Вишневецкого, посол привез, не послом, но соглядатаем будучи, о приготовлениях наших и доброй воле Тугай-бея, друга нашего, желая все выведать и перед ляхами раскрыть. Также надлежит обсудить вам, имеет ли он быть тоже наказан, как те, кому привез сказанные письма, о которых кошевой, как преданный друг мне, Тугай-бею и всему войску, сразу же нас известил.

Хмельницкий умолк. Гул за окнами все усиливался, поэтому войсковой писарь даже встал, когда огласил княжеское послание к кошевому атаману, начинавшееся словами: «Мы, Божьей милостию, князь и господин на Лубнах, Хороле, Прилуках, Гадяче и прочая, воевода русский и прочая, староста и прочая». Послание было чисто деловым. Князь, прослышав, что

<sup>55</sup> Порядок совещаний на Сечи описан в хронике Эрика Ляссоты, императорского посла на Запорожье в 1524 году. – *Примеч. автора.*

с луговин отзываются войска, спрашивал атамана, правда ли это, и призывал его спокойствия ради от таковых действий отказаться. Хмельницкого же, ежели станет Сечь бунтовать, комиссарам чтобы выдал, каковые о том, в свою очередь, спросят. Второе письмо было от пана Гродзицкого, также к великому атаману, третье и четвертое Зацвилюховского и старого черкасского полковника к Татарчуку и Барабашу. Во всех не стояло ничего такого, что могло дать повод заподозрить особу, которой письмо было адресовано. Зацвилюховский единственно просил Татарчука позаботиться о подателе письма и содействовать во всем, о чем посол бы ни попросил.

Татарчук облегченно вздохнул.

– Что скажете, досточтимые господа, о письмах сих? – спросил Хмельницкий.

Казаки молчали. Всякий совет, покуда водка не разгорячила голов, всегда начинался с того, что ни один из атаманов не желал высказаться первым. Будучи людьми простыми, но себе на уме, они поступали так, опасаясь сказануть что-нибудь, что потом обрекло бы оратора на осмеяние или на всю жизнь снискало бы ему обидную кличку. Так оно уж повелось на Сечи, где при величайшей неотесанности была необычайно развита страсть к насмешничеству, равно как и боязнь сделаться посмешищем.

Потому казаки и молчали. Хмельницкий заговорил снова:

– Кошевой атаман брат нам и честный друг. Я атаману верю, как себе, а ежели кто желает иное сказать, то, значит, сам измену замышляет. Атаман – друг верный и солдат примерный.

Тут он встал и поцеловал кошевого.

– Досточтимые господа! – взял теперь слово кошевой. – Я войско собрал, а гетман пускай ведет; что до посла, то, ежели его послали ко мне, значит, он мой, а раз он мой, то я его вам отдаю.

– Вы, досточтимые панове-депутация, поклонитесь атаману, – сказал Хмельницкий, – ибо он человек справедливый, и ступайте сказать товариществу, что ежели кто и предатель, так не он предатель; он первый стражу всюду выставил, он первый изменников, которые к ляхам пойдут, ловить приказал. Вы, панове-депутация, скажите, что он не предатель, что он самый лучший из всех нас.

Панове-депутация поклонились сперва Тугай-бею, который все это время с величайшим безразличием грыз свои семечки, затем Хмельницкому, затем кошевому – и вышли на улицу.

Спустя минуту радостные вопли за окнами возвестили, что депутация наказ выполняет.

– Слава кошевому нашему! Слава кошевому! – кричали хриплые голоса с такою силой, что даже стены, казалось, ходуном ходили.

Разом поднялась пальба из самопалов и пищалей.

Депутация вернулась и снова расположилась в углу залыцы.

– Досточтимые господа! – сказал Хмельницкий, когда за окнами поутихло. – Вы мудро уже рассудили, что кошевой атаман – человек справедливый. Но ежели атаман не предатель, то кто же предатель? У кого среди ляхов друзья имеются? С кем ляхи в тайные сношения входят? Кому письма пишут? Кому особу посла поручают? Кто же предатель?

Говоря это, Хмельницкий постепенно возвышал голос и зловеще поводил очами в сторону Татарчука и молодого Барабаша, словно бы намеревался указать именно на них. В зале зашевелились, несколько голосов крикнули: «Барабаш и Татарчук!» Кое-кто из куренных повставал с мест, среди депутации раздались возгласы: «На погибель!»

Татарчук побледнел, а молодой Барабаш стал удивленно озираясь. Ленивая мысль его какое-то время силилась отгадать, за что его обвиняют, и он в конце концов выпалил:

– Н е б у д е с о б а к а м ’ я с а ї с т и !

Сказав это, он разразился идиотским смехом, а за ним и остальные. И тотчас большинство куренных принялись дико хохотать, сами не зная над чем.

С майдана, все усиливаясь, долетали крики: видно, водка там ударила в головы. Шум людского приboя становился с каждым мгновением громче.

Антон Татарчук встал и, обратившись к Хмельницкому, начал говорить:

– Чем я виноват перед вами, высокочтимый гетман запорожский, что вы моей смерти добиваетесь? Что я вам сделал? Писал ко мне комиссар Зацвилюховский письмо – т а й щ о? Так ведь и князь написал кошевому! А я разве письмо получил? Нет! А ежели получил бы, так что бы сделал? К писарю пошел бы и велел бы прочитать, б о н і п и с а т и, н і ч и т а т и н е у м і ю. И вы бы бесприменно узнали, о чем письмо. А ляха я и в глаза не видал. Так разве ж я предатель? Гей, братья запорожцы! Татарчук с вами на Крым ходил, а когда вы ходили на Волошу, то ходил на Волошу, а как под Смоленск ходили, то ходил и под Смоленск; бился вместе с вами, добрыми молодцами, и кровь проливал с вами, добрыми молодцами, и с голоду помирал с вами, добрыми молодцами; так не лях он, не предатель, а казак, ваш брат, а ежели пан гетман смерти его требует, так пускай скажет, почему требует! Что я ему сделал, в чем бесчестным был? А вы, братья, помилуйте и рассудите справедливо!

– Татарчук добрый молодец! Татарчук справедливый человек! – слышалось несколько голосов.

– Ты, Татарчук, добрый молодец, – сказал Хмельницкий, – и я на тебя не показываю, ибо ты мой друг, не лях, а казак, наш брат. Потому что, будь предателем лях, я бы не печалился и не горевал по нем, но ежели добрый молодец предатель, мой друг – предатель, то тяжело у меня на сердце и доброго молодца жаль. А раз и в Крыму, и на Волоше, и под Смоленском ты бывал, то еще тяжелее твой грех, коли нынче бесчестно хотел готовность и рвение войск запорожских ляху открыть! Тебе ж писано, чтоб ты ему пособил в том, чего он ни потребует, а скажите, досточтимые господа атаманы, чего лях может потребовать? Разве не моей и моего доброго друга Тугай-бея смерти? Разве не беды Войску Запорожскому? Так что ты, Татарчук, виновен и ничего другого уже не докажешь. А к Барабашу писал дядька его, полковник черкасский, Чаплинскому друг и ляхам друг, у себя привилегии припрятавший, чтобы Войску Запорожскому не достались. И ежели оно все так, оба вы виноваты и просите помилования у атаманов, а я вместе с вами просить буду, хотя вина ваша тяжка, а измена явственна.

Из-за окон между тем доносились уже не шум и гам, но словно бы грохотание грозы. Товарищество желало знать, что происходит на раде, и послало новую депутацию.

Татарчуку сделалось ясно, что он пропал. Он вдруг вспомнил, что неделю назад высказывался среди атаманов против вручения булавы Хмельницкому и договора с татарами. Холодный пот выступил на лбу его, и понял Татарчук, что спасения нету. Что же касается молодого Барабаша, тут ясно было, что, губя его, Хмельницкий мстит старому черкасскому полковнику, безмерно любившему своего племянника. Однако Татарчук умирать не хотел. Не побледнел бы он перед саблей, перед пулею, даже перед колом, но смерть, какая ждала его, ужасала беднягу до мозга костей, поэтому, воспользовавшись недолгой тишиной, наступившей после слова Хмельницкого, он пронзительно крикнул:

– Христом-Богом заклинаю! Братья атаманы, други сердечные, не губите же невинного, я же ляха и не видал, не разговаривал с ним! Помилуйте, братья! Я ж не знаю, чего ляху от меня надо было, сами его спросите! Клянусь пресветлым Спасом, Богородицей Пречистой, святым Николою-чудотворцем, святым Михаилом-архангелом, что губите вы душу невинную!

– Привести ляха! – крикнул старый кантарей.

– Ляха сюда! Ляха! – закричали куренные.

Поднялась суматоха: одни кинулись к соседнему помещению, где был заперт пленник, собираясь привести его пред очи собрания, другие угрожающе пошли на Татарчука с Барабашем. Гладкий, атаман миргородского куреня, первым крикнул: «На погибель!» Депутация этому крику вторила, Чарнота же бросился к дверям, распахнул их и прокричал собравшейся толпе:

– Досточтимые панове-товарищество! Татарчук – предатель, и Барабаш тоже! На погибель им!

Толпа ответила ужасающим ревом. В зальце наступило замешательство. Все куренные повскакали с мест. Одни кричали: «Ляха! Ляха!», другие пытались переполох унять, а тем временем двери под натиском толпы распахнулись настежь и в дом ворвалась орава, прежде горлопанившая на майдане. Страшные фигуры, ослепленные яростью, наполнили помещение, вопя, размахивая руками, скрежеща зубами и распространяя запах горелки. «Смерть Татарчуку! На погибель Барабашу! Давай сюда предателей! На майдан их! – вопили пьяные голоса. – Бей! Убивай!», и сотни рук во мгновение протянулись к несчастным. Татарчук не сопротивлялся, он только пронзительно скулил, но молодой Барабаш стал защищаться со страшным неистовством. Он наконец понял, что его хотят убить; страх, отчаяние и бешенство исказили его лицо, пена выступила на губах, из груди исторгнулся звериный рык. Дважды вырывался он из губительных рук, и дважды руки эти хватили его за плечи, за бороду, за оселедец. Он не давался, кусался, рычал, падал и снова поднимался, окровавленный, страшный. Ему изорвали одежду, вырвали оселедец, выбили глаз, наконец, притиснутому к стене, сломали руку. И только тогда он рухнул. Палачи схватили его и Татарчука за ноги и поволокли на майдан. И вот тут-то в отблесках пламени смоляных бочек и пылающих костров началась немедленная экзекуция. Несколько тысяч кинулись на обреченных и стали разрывать их в куски, воя и борясь друг с другом за возможность протиснуться к жертвам. Их топтали ногами, из их тел вырывали клочья мяса. Сброд топтался, сбившись вокруг них в жутком конвульсивном порыве разбушевавшейся толпы. Окровавленные руки то вздымали два бесформенных, потерявших вид человеческий туловища в воздух, то опять швыряли наземь. Те, кто не смог пробиться, вопили как резаные: одни требовали, чтобы жертв швырнули в воду, другие – чтобы затолкали в бочки с горящей смолой. Пьянь затеяла меж собой свару. В припадке безумия подожгли две огромные бочки с водкой, которые осветили эту дьявольскую сцену переменчивым голубоватым светом. С неба же взирал на нее тихий, ясный и погожий месяц.

Так товарищество карало изменников.

А в совещательной зальце после того, как оттуда выволокли Татарчука и молодого Барабаша, все снова успокоились, атаманы заняли у стен прежние места свои, а из соседнего чулана привели пленного.

Тень падала на его лицо, ибо уже и огонь в камине попригаснул, так что в полупотемках различима была только горделивая фигура, державшаяся прямо и достойно, хотя руки пленного и были связаны лыком. Гладкий подбросил связку лучины – тотчас же взметнулось пламя, ярко осветив лицо пленника, который оборотился к Хмельницкому.

Взглянув на него, Хмельницкий вздрогнул.

Пленником был пан Скшетуский.

Тугай-бей сплюнул лузгу и буркнул по-русински:

– Я т о г о л я х а з н а ю – в і н б у в у К р и м у.

– На погибель ему! – закричал Гладкий.

– На погибель! – повторил Чарнота.

Хмельницкий уже овладел собой и скользнул взглядом по Гладкому и Чарноте. Те тотчас умолкли, а он, повернувшись к кошевому, сказал:

– И я его знаю.

– Откуда ты явился? – спросил кошевой Скшетуского.

– С посольством направлялся я к тебе, кошевой атаман, когда головорезы на Хортице на меня напали и противу обычая, принятого даже у самых диких народов, людей моих перебили, а меня, происхождение и посольское достоинство мои во внимание не принимая, ранили, оскорбили и как пленника сюда привели, за что господин мой, светлейший князь Иеремия Вишневецкий, найдет способ у тебя, атаман кошевой, ответ спросить.

– А зачем ты криводушие свое показал? Зачем доброго молодца клевцом порубал? Зачем людей перебил вчетверо против своих? Зачем сюда с письмом ко мне ехал – чтобы о приготовлениях наших прознать и ляхам о них донести? Знаем мы и то, что ты к предателям Войска Запорожского письма имел, чтобы с изменниками этими погибель всего Войска Запорожского замыслить, а посему не как посол, но как недруг принят и поделом наказан будешь.

– Ошибаешься ты, атаман кошевой, и ты, ваша милость гетман самозванный! – сказал наместник, обращаясь к Хмельницкому. – Если имел я письма, так это в обычае всякого посла, который, в чужие земли направляясь, всегда берет письма от знакомых к знакомым, дабы завязать таким образом дружеские отношения. А я сюда ехал с княжеским письмом, не погибель вашу замышлять, но удержать вас от таких действий, каковые гибельный пароксизм на Речь Посполитую, а на вас и на все Войско Запорожское окончательное истребление навлекут. Ибо на кого вы безбожную руку поднимаете? Против кого вы, именующие себя защитниками веры Христовой, с погаными союзы заключаете? Против короля, против шляхетского сословия, против Речи Посполитой. Посему скорее вы – не я – предатели. И вот что скажу я: ежели покорностью и послушанием не загладите провинностей своих, горе вам! Разве забвенны уже времена Павлюка и Наливайки? Разве стерлось в памяти вашей, как поплатились они? Знайте же, что *patientia*<sup>56</sup> Речи Посполитой исчерпана и меч занесен над головами вашими.

– Ругаешь, вражий сын, выкрутиться хочешь и смерти избежать! – закричал кошевой. – Да только не помогут тебе ни угрозы, ни латынь твоя ляхская.

Остальные атаманы принялись скрежетать зубами и лязгать саблями, а пан Скшетуский поднял голову еще выше и сказал вот что:

– Не думай, атаман кошевой, что смерти я боюсь, или жизнь спасаю, или невиновность свою доказываю. Шляхтичем будучи, судим я могу быть только равными себе и не перед судьями тут стою, но перед татями, не перед шляхтой, но перед холопами, не перед рыцарством, но перед варварством, и хорошо мне известно, что не избегну я смерти, которою вы тоже пополните меру своей неправоты. Смерть и мука передо мною, но за мною – могущество и возмездие целой Речи Посполитой, пред ней же да вострепещите все вы!

Непонятно почему, но гордый вид, высокая речь и упоминание Речи Посполитой произвели сильное впечатление. Атаманы молча поглядывали друг на друга. В какое-то мгновение показалось им, что перед ними не пленник, но грозный посланец могущественного народа. Тугай-бей буркнул:

– С е р д и т и й л я х!

– С е р д и т и й л я х! – повторил Хмельницкий.

Внезапные удары в дверь прервали дальнейший допрос. На майдане расправа над останками Татарчука и Барабаша как раз была закончена; товарищество прислало новую депутацию.

Более дюжины казаков, пьяных, окровавленных, взмокших, тяжело дышавших, ввалились в горницу. Переступив порог, они остановились и, простерши руки свои, еще дымившиеся кровью, заговорили:

– Товарищество кланяется панам начальству, – тут все они поклонились в пояс, – и просит выдать того л я х а, щ о б з н и м п о г р а т и, я к з Б а р а б а ш о м і Т а т а р ч у к о м.

– Выдать им ляха! – крикнул Чарнота.

– Не выдавать, – крикнули другие. – Пусть погодят! Он посол!

– На погибель ему! – раздались отдельные голоса.

Затем все замолкли, ожидая, что скажут кошевой и Хмельницкий.

– Товарищество просит, а ежели что – само возьмет! – повторили депутаты.

Казалось, что Скшетуский уже пропал и спасения ему не будет, когда Хмельницкий вдруг наклонился к уху Тугай-бея.

<sup>56</sup> терпеливость (лат.).

– Он твой пленник, – шепнул гетман. – Его татары взяли, он твой. Неужто позволишь его отнять? Это богатый шляхтич, да и князь Ярема за него золотом заплатит.

– Давайте ляха! – грознее прежнего требовали казаки.

Тугай-бей потянулся на своем седалище и встал. Лицо его во мгновение преобразилось: глаза расширились, словно у лесного кота, зубы оскалились. Внезапно он прыгнул к молодцам, требовавшим выдачи пленного.

– Прочь, козлы, собаки неверные! Рабы! С в и н о я д и! – рявкнул он, схватив за бороды двух запорожцев и в ярости эти бороды дергая. – Прочь, пьяницы, твари нечистые! Скоты гнусные! Вы у меня ясырь пришли отнимать, а я вас вот так!.. Козлы! – Говоря это, он рвал бороды все новых молодцев, наконец, поваливши одного, принялся топтать его ногами. – На лицо, рабы, не то ясырями будете! Не то всю вашу Сечь ногами, как вас, потопчу! Дотла спалю, падалью вашей покрою!

Перепуганные депутаты пятились – грозный друг показал им, на что способен.

И удивительное дело: на Базавлуке стояло всего шесть тысяч ордынцев (правда, за ними был еще хан со всею крымской мощью), но в Сечи ведь находилось много более десяти тысяч молодцев, не считая тех, кого Хмельницкий уже загодя послал на Томаковку, и все-таки ни одного недовольного голоса не услышал Тугай-бей. Стало ясно, что способ, каким грозный мурза оставил за собой пленного, был единственно верным и был точно рассчитан, немедленно укротив запорожцев, которым татарская помощь была крайне необходима. Депутация кинулась на майдан, крича, что с ляхом поиграть не получится, что он пленник Тугай-бея, а Тугай-бей, к а ж е, р о з с е р д и в с я! «Бороды нам повырывал!» – кричали они. На майдане сразу же стали повторять: «Тугай-бей р о з с е р д и в с я!» – «Р о з с е р д и в с я! – горестно кричали толпы. – Р о з с е р д и в с я!» – а спустя некоторое время какой-то пронзительный голос затянул у костра:

Гей, гей!  
Тугай-бей!  
Розсердився дуже.  
Гей, гей!  
Тугай-бей!  
Не сердися, друже!

Сразу же тысяча голосов подхватила: «Гей, гей! Тугай-бей», и так возникла одна из тех песен, которые, можно сказать, вихрь потом разносил по всей Украине и касался ими струн лир и торбанов.

Но внезапно песня оборвалась, ибо в ворота со стороны Гассан Баша влетело десятка два каких-то людей и, продираясь сквозь толпу и крича: «С дороги! С дороги!», что было мочи устремилось к дому рады. Атаманы собирались уже разойтись, когда новые эти гости вбежали в горницу.

– Письмо гетману! – кричал старый казак.

– Откуда вы?

– Мы чигиринские. День и ночь с письмом едем. Вот оно.

Хмельницкий взял письмо из рук казака и стал читать. Внезапно лицо его преобразилось, он прервал чтение и громким голосом сказал:

– Досточтимые господа атаманы! Великий гетман посылает на нас сына Стефана с войском. Война!

В комнате тихо зашумели, заговорили. Было ли это проявлением радости или потрясения – неясно. Хмельницкий вышел на середину и упер руки в боки, очи его метали молнии, а голос звучал грозно и повелительно:

– Куренные по куреням! Ударить на башне из пушек. Бочки с водкой разбить! Завтра чем свет выступаем!

С этой минуты на Сечи кончались сходки, советы атаманов, сеймы и главенствующая роль товарищества. Хмельницкий брал в руки неограниченную власть. Только что опасаясь, что разгулявшееся товарищество не послушается его, он вынужден был хитростью спасти пленника и коварством избавиться от недоброжелателей, а теперь он сделался господином жизни и смерти каждого. Так было всегда. До и после похода, хотя бы гетман уже и бывал выбран, толпа еще навязывала атаманам и кошевому свою волю, противиться которой было небезопасно. Но стоило протрубить поход, и товарищество становилось войском, подчинявшимся воинской дисциплине, куренные – офицерами, а гетман – вождем-диктатором.

Вот почему, услышав приказы Хмельницкого, атаманы сразу бросились по своим куреням. Рада была закончена.

Спустя короткое время грохот пушек на воротах, ведущих из Гассан Баша на сечевой майдан, потряс стены сечевого совета и разнесся угрюмым эхом по всему Чертомлыку, возвещая войну.

Возвестил он также и начало новой эпохи в истории двух народов, но об этом не знали ни пьяные сечевики, ни сам гетман запорожский.

## Глава XII

Хмельницкий со Скшетуским пошли ночевать к кошевому, а с ними и Тугай-бей, из-за позднего времени решивший на Базавлук не возвращаться. Дикий бей обращался с наместником как с пленным, за которого будет немалый выкуп, а потому трактовал не как невольника и с уважением куда большим, нежели казаков, ибо в свое время встречал его при ханском дворе в качестве княжеского посла. Видя такое, кошевой пригласил Скшетуского в свою хату и соответственно тоже изменил с ним обращение. Старый атаман душой и телом был предан Хмельницкому и на раде, конечно, заметил, что Хмельницкий явно старался пленника спасти. Однако по-настоящему удивился кошевой, когда, едва вошед в хату Хмельницкий обратился к Тугай-бею:

– Тугай-бей, сколько выкупа думаешь ты взять за этого пленного?

Тугай-бей глянул на Скшетуского и сказал:

– Ты говорил, что он человек знатный, а мне известно, что он посол грозного князя, а грозный князь своих в беде не оставит. Бисмиллах! Один заплатит и другой заплатит – получается...

И Тугай-бей задумался:

– Две тысячи талеров.

Хмельницкий спокойно сказал:

– Даю тебе эти две тысячи.

Татарин некоторое время раздумывал. Его раскосые глаза, казалось, насквозь проникали Хмельницкого.

– Ты дашь три, – сказал он.

– Почему я должен три давать, если ты собирался взять две?

– Потому что, раз тебе захотелось получить его, значит, у тебя свой расчет, а раз свой расчет, дашь три.

– Он спас мне жизнь.

– Алла! За это стоит накинуть тысячу.

В торг вмешался Скшетуский.

– Тугай-бей! – сказал он гневно. – Из княжеской казны я ничего тебе посулить не могу, но хоть бы мне и пришлось собственное добро тронуть, я сам три не пожалею. Приблизительно столько составляет моя лихва от князя, да еще деревенька у меня изрядная есть, так что хватит. А гетману этому я ни свободой, ни жизнью обязан быть не желаю.

– Да откуда ты знаешь, что я с тобой сделаю? – спросил Хмельницкий.

И, поворотившись к Тугай-бею, сказал:

– Вот-вот разразится война. Ты пошлешь ко князю, но, пока посланец воротится, много воды в Днепре утечет; я же тебе завтра сам деньги на Базавлук отвезу.

– Давай четыре, тогда я с ляхом и говорить не стану, – нетерпеливо ответил Тугай-бей.

– Что ж, дам четыре.

– Ваша милость, гетман, – сказал кошевой. – Желаешь, я тебе хоть сейчас отсчитаю. У меня тут под стенкой, может, даже и побольше есть.

– Завтра отвезешь на Базавлук, – сказал Хмельницкий.

Тугай-бей потянулся и зевнул.

– Спать охота, – сказал он. – Завтра с утра я тоже на Базавлук еду. Где мне лечь-то?

Кошевой указал ему груды овчин у стены.

Татарин бросился на постель и тотчас же захрапел, как конь.

Хмельницкий несколько раз прошелся по тесной хате.

– Сон на очи нейдет. Не уснуть мне. Дай чего-нибудь выпить, кошевой, – сказал он.



- Горелки или вина?
- Горелки. Не уснуть мне.
- Уже брезжит вроде, – сказал кошевой.
- Да, да! Иди и ты спать, старый друже. Выпей и ступай.
- Во славу и за удачу!
- За удачу!

Кошевой утерся рукавом, пожал руку Хмельницкому и, отойдя к противоположной стене, с головою зарылся в овчины – возраст брал свое, и кровь в кошевом бежала зябкая. Вскорости храп его присоединился к Тугай-бееву.

Хмельницкий сидел за столом, безмолвный и отсутствующий.

Вдруг он словно бы очнулся, поглядел на наместника и сказал:

– Сударь наместник, ты свободен.

– Благодарствуй, досточтимый гетман запорожский, хотя не скрою, что предпочел бы кого другого за свободу благодарить.

– Тогда не благодари. Ты спас мне жизнь, я добром отплатил – вот мы и квиты. Но хочу сказать тебе вот что: если не дашь рыцарского слова, что не расскажешь своим о наших приготовлениях, о численности войска нашего или о чем еще, что на Сечи видал, я тебя пока не отпущу.

– Значит, напрасно ты мне *fructum*<sup>57</sup> свободы дал вкусить, потому что такого слова я не дам, ибо, давши его, поступлю как те, кто к недругу перебегают.

– И жизнь моя, и благополучие всего запорожского войска сейчас в том, чтобы великий гетман не пошел на нас со всеми силами, что он не преминет сделать, если ты ему о наших расскажешь, так что, если не дашь слова, я тебя не отпущу до тех пор, пока не почувствую себя достаточно уверенно. Знаю я, на что замахнулся, знаю, какая страшная сила противостоит мне: оба гетмана, грозный твой князь, один целого войска стоящий, да Заславские, да Конецпольские, да все эти королята, на вые казацкой стопу утвердившие! Воистину немало я потрудился, немало писем напisał, прежде чем удалось мне подозрительность их усыпить, – так могу ли я теперь позволить, чтобы ты разбудил ее? Ежели и чернь, и городовые казаки, и все утесненные в вере да свободе выступят на моей стороне, как запорожское войско и милостивый хан крымский, тогда полагаю я совладать с неприятелем, ибо и мои силы значительны будут, но всего более вверяюсь я Богу, который видел кривды и знает невиновность мою.

Хмельницкий опрокинул чарку и стал беспокожно расхаживать вокруг стола, пан же Скшетуский смерил его взглядом и, напирая на каждое слово, сказал:

– Не богохульствуй, гетман запорожский, на Бога и высочайшее покровительство его рассчитывая, ибо воистину только гнев Божий и скорейшую кару навлечешь на себя. Тебе ли пристало вывать к всевышнему, тебе ли, который собственных обид и частных распрей ради столь ужасную бурю поднимаешь, раздуваешь пламя усобицы и с басурманами противу христиан объединяешься? Победишь ли ты или окажешься побежденным – море человеческой крови и слез прольешь, хуже саранчи землю опустошишь, родную кровь поганым в неволю отдашь. Речь Посполитую поколеблешь, монарха оскорбишь, алтари Господни поругаешь, а все потому, что Чаплинский хутор у тебя отнял, что, пьяным будучи, угрожал тебе! Так на что же ты руку не поднимаешь? Чего корысти своей ради не принесешь в жертву? Богу себя вверяешь? А я, хоть и нахожусь в твоих руках, хоть ты меня живота и свободы лишить можешь, истинно говорю тебе: сатану, не Господа в заступники призывай, ибо единственно ад споспешествовать тебе может!

Хмельницкий побагровел, схватился за рукоять сабли и глянул на пленника, как лев, который вот-вот зарычит и кинется на свою жертву. Однако же он сдержался. К счастью, гетман

---

<sup>57</sup> плод (лат.).

не был пока что пьян, но охватила его, казалось, безотчетная тревога, казалось, некие голоса взмолились в душе его: «Повороти с дороги!», ибо вдруг, словно бы желая отвязаться от собственных мыслей или убедить самого себя, стал говорить он вот что:

– От другого не стерпел бы я таких речей, но и ты поостерегись, чтобы дерзость твоя моему терпению конец не положила. Адом меня пугаешь, о корысти моей и предательстве мне проповедуешь, а почему ты знаешь, что я только за собственные обиды воздать иду? Где бы я нашел соратников, где бы взял тьмы эти, которые уже перешли на мою сторону и еще перейдут, когда бы собственные только обиды взыскать вознамерился? Погляди, что на Украине творится. Гей! Земля-кормилица, земля-матушка, земля родимая, а кто тут в завтрашнем дне уверен? Кто тут счастлив? Кто веры не лишен, свободы не потерял, кто тут не плачет и не стонет? Только Вишневецкие, да Потоцкие, да Заславские, да Конецпольские, да Калиновские, да горстка шляхты! Для них староства, чины, земля, люди, для них счастье и бесценная свобода, а прочий народ в слезах руки к небу заламывает, уповая на суд божий, ибо и королевский не помогает! Сколько же, – шляхты даже! – невыносимого их гнета не умея стерпеть, на Сечь сбегает, как и я сбежал? Я ведь войны с королем не ищу, не ищу и с Речью Посполитой! Она – мать, он – отец! Король – государь милостивый, но королята! С ними нам не жить, это их лихоимство, это их аренды, ставщины, поемщины, сухомельщины, очковые и роговые, это их тиранство и гнет, через евреев совершаемые, к небесам о возмездии вопиют. Какой такой благодарности дождалось Войско Запорожское за свои великие услуги, в многочисленных войнах оказанные? Где казацкие привилегии? Король дал, королята отняли. Наливайко четвертован! Павлюк в медном быке сожжен! Еще не зажили раны, которые нам сабля Жолкевского и Конецпольского нанесла! Слезы не высохли по убиенным, обезглавленным, на кол посаженным! И вот – гляди – что на небесах светит! – Тут Хмельницкий показал в окошке пылающую комету. – Гнев Божий! Бич Божий!.. И коли суждено мне на земле бичом этим стать, да свершится воля Господня! Я сие бремя на плечи принимаю.

Сказав это, он простер руки горе и весь, казалось, вспылал, точно огромный факел возмездия, и затрясся весь, а потом рухнул на лавку, точно непомерной тяжестью предназначения своего придавленный.

Воцарилась тишина, нарушаемая только храпом Тугай-бея и кошевого, да еще в углу хаты жалобно пиликал сверчок.

Наместник сидел, опустив голову и, казалось, ища ответа на слова Хмельницкого, тяжкие, точно гранитные глыбы, но вот и он заговорил голосом тихим и печальным:

– О, пусть бы все это и было правдой, но кто же ты такой, гетман, чтобы судьбою и палачом себя поставить? Какая тебя жестокость, какая гордыня подвигает? Зачем ты Богу суда и кары не оставляешь? Я зла не защищаю, обид не одобряю, притеснений законом не нарекаю, но взгляди же в себя, гетман! На утеснения от королят жалуешься, говоришь, что ни королю, ни закону повиноваться не желают, спесь их порицаешь, а разве сам ты без греха? Сам разве не поднял руку на Речь Посполитую, закон и престол? Тиранство панов и шляхты видишь, но того видеть не желаешь, что, ежели бы не их груди, не их брони, не их могущество, не их замки, не их пушки и полки, тогда бы земля эта, млеко и медом текущая, под стократ тяжелейшим турецким или татарским ярмом стенала! Ибо кто бы защитил ее? Чьим это могуществом и покровительством дети ваши в янычарах не служат, а жены в паскудные гаремы не похищаются? Кто заселяет пустоши, закладывает города и села, воздвигает храмы Божьи?..

Тут голос Скушетуского стал делаться все громче и громче, а Хмельницкий, угрюмо уставившись в четверть водки, стиснутые кулаки на стол положил и молчал, словно бы сам с собою боролся.

– Так кто же они? – продолжал пан Скушетуский. – Из немцев сюда пришли или из Туретчины? Не кровь ли это от крови, не плоть ли от плоти вашей? Не ваша ли это шляхта, не ваши княжата? А если оно так, тогда горе тебе, гетман, ибо ты младших братьев на старших подни-

маешь и братоубийцами их делаешь. Боже ты мой! Пусть и плохи они, пускай даже все, – а это не так! – попирают законы, ругаются над привилегиями, так их же Богу в небесах судить, а на земле сеймам, но не тебе, гетман! Ибо можешь ли ты поручиться, что меж ваших сплошь праведники? Разве же вы никогда не согрешили, разве имеете право бросить камень в чужой грех? А уж коли ты меня пытал, – где они, мол, привилегии казацкие? – так я отвечу тебе: не королята их разорвали, но запорожцы, но Лобода, Сашко, Наливайко и Павлюк, о котором лжешь, что он в медном быке был поджарен, ибо тебе хорошо известно, что так не было! Разорвали их бунты ваши, разорвали их смуты и набеги, на манер татарских учиняемые. Кто татар в рубежи Речи Посполитой пускал, чтобы затем на возвращающихся и награбленным отягощенных добычи ради нападать? Вы! Кто – Господи! – народ христианский, своих, ясырями отдавал? Кто величайшие смутяинства затевал? Вы! От кого ни шляхтич, ни купец, ни кмет не упасутся? От вас! Кто братоубийственные войны раздувал, дотла жег деревни и города украинные, грабил храмы Божьи, бесчестил женщин? Вы, и еще раз вы! Чего же ты теперь хочешь? Чтобы вам привилегии на братоубийственную войну, разбой и грабительство были даны? Воистину вам более прощено, чем отнято! Ибо хотели мы *membra putrida*<sup>58</sup> лечить, не отсекай<sup>59</sup>, и не знаю – есть ли такая держава на свете, кроме Речи Посполитой, которая бы, таковую язву на собственной груди имея, столько снисхождения и терпеливости проявила! А какая благодарность за все это? Вот он спит, твой союзник, но Речи Посполитой враг заклятый; твой приятель, но супостат креста и христианства, не королишко украинный, но мурза крымский!.. С ним ты пойдешь жечь собственное гнездо, с ним пойдешь судить братьев! Но ведь он тебе впрямь господином будет, ему стремя будешь держать!

Хмельницкий опорожнил еще чарку.

– Когда мы с Барабашем в свое время у милостивого короля были, – ответил он угрюмо, – и когда жалились на кривды и утеснения, государь сказал: «А разве не при вас самопалы, разве не при сабле вы?»

– А если б ты царю царей предстал, тот сказал бы: «Простишь ли врагам своим, яко я своим простил?»

– С Речью Посполитой я войны не хочу!

– А меч ей к горлу приставляешь!

– Казаков иду из цепей ваших вызволить.

– Чтобы связать их лыками татарскими!

– Веру защитить!

– С неверным на пару.

– Отыди же, ибо не ты голос моей совести! Прочь! Слышишь?

– Кровь пролитая тебя отягчит, слезы людские обвинят, смерть суждена тебе, суд ожидает.

– Не каркай! – закричал в бешенстве Хмельницкий и блеснул ножом у наместниковой груди.

– Бей! – сказал пан Скшетуский.

И снова на мгновение воцарилась тишина, снова было слышать только храп спящих да жалобное поскрипывание сверчка.

Хмельницкий какое-то время держал нож у груди Скшетуского, однако, содрогнувшись вдруг, опомнившись, нож уронил и, схватив четверть, припал к ней. Выпив почти все, он тяжело сел на лавку.

– Не могу его прирезать! – забормотал он. – Не могу! Поздно уже... Неужто рассветает?... И на попятный идти поздно... Что ты мне о суде и крови говоришь?

<sup>58</sup> гниющие члены (*лат.*).

<sup>59</sup> Исторические слова Жолкевского. – *Примеч. автора.*

Он и до того уже немало выпил, поэтому теперь водка ударила ему в голову, вовсе спутав мысли.

– Какой такой суд, а? Хан мне подмогу обещал. Вон Тугай-бей спит! Завтра молодцы двинутся... С нами святой Михаил-архистратиг! А ежели... ежели... то... Я тебя у Тугай-бея выкупил – ты это помни и скажи... Вот! Болит что-то... болит! На попятный... поздно!.. суд... Наливайко... Павлюк...

Вдруг он выпрямился, глаза в ужасе вытаращил и крикнул:

– Кто здесь?

– Кто здесь? – повторил полупроснувшийся кошевой.

Но Хмельницкий голову на грудь свесил, качнулся раз и другой, пробормотал: «Какой суд?...» – и уснул.

Пан Скупетуский, обессиленный своими ранами и бурным разговором, страшно побледнел и стал терять сознание. И показалось ему даже, что это, быть может, смерть его пришла, и стал он громко молиться.

## Глава XIII

Назавтра, едва развиднелось, пешее и конное казачье войско двинулось из Сечи. Хотя кровь не обагрила еще степей, война была начата. Полки шли за полками, и казалось, что это саранча, пригретая весенним солнцем, выплудилась из камышей Чертомлыка и летит на украинские нивы. В лесу за Базавлуком ждали уже готовые в поход ордынцы. Шесть тысяч наиотборнейших воинов, вооруженных много лучше обычных чамбульных головорезов, составляли подкрепления, присланные ханом запорожцам и Хмельницкому. Молодцы, завидя их, подкинули шапки в воздух. Загремели мушкеты и самопалы. Казацкие клики, смешавшись с татарскими призывами к аллаху, грянули в свод небесный. Хмельницкий и Тугай-бей, оба под бунчуками, съехались и церемонно приветствовали друг друга.

Походные порядки были построены со свойственным татарам и казакам проворством, после чего войска двинулись дальше. Ордынцы шли по обоим казачьим флангам, средину заполнил Хмельницкий с конницей, за которой следовала страшная запорожская пехота<sup>60</sup>, далее – пушкари с пушками, дальше табор, возы, на них обозники, провиант, наконец, чабаны с конским запасом и скотом.

Прошед базавлукский лес, полки выплыли в степь. День стоял ясный. Ни одна тучка не омрачала небес. Легкий ветерок тянул с севера к морю, солнце сверкало на пиках и на цветах степных. Точно море безбрежное, распахнулось перед войском Дикое Поле, и вид этот наполнил ликованием казачьи сердца. Большой малиновый стяг с архангелом, приветствуя родимую степь, склонился несколько раз, и вослед ему склонились все бунчуки и полковые знамена. Единый крик вырвался из всех грудей.

Полки развернулись свободнее. Д о в б и ш и и торбанисты выехали в чело войска, загрохотали турецкие барабаны, грянули торбаны и литавры, и песня, затянутая тысячей голосов, вторя им, сотрясла воздух и самое степь:

Гей ви степи, ви ріднії,  
Красним цвітом писанії,  
Як море широкиї.

Торбанисты отпустили поводья и, откинувшись на седельные луки, со взорами, обращенными к небу, ударили по струнам торбанов; литаврщики, подняв руки над головами, грохнули в свои медные круги; д о в б и ш и заколотили в турецкие барабаны, и все звуки эти купно с монотонным напевом песни и пронзительно-нескладным свистом татарских дудок слились в некое безбрежное звучание, дикое и печальное, точно сама пустыня. Упоение овладело войском, головы раскачивались в лад песне, и вот уже стало казаться, что это сама степь поет и колыхается вместе с людьми, лошадьми и знаменами.

Вспугнутые стаи птиц взмывались из трав и летели впереди войска, словно еще одно – небесное – воинство.

Временами и песня, и музыка смолкали, и слышался тогда лишь плеск знамен, топот, фыркание лошадей да скрип обозных телег, лебединым или журавлиным голосам подобный.

Впереди под бунчуком и огромным малиновым стягом ехал Хмельницкий, в алой одежде, на белом коне и с золотою булавой в руке.

---

<sup>60</sup> Вопреки распространенному сейчас мнению, Боплан утверждает, что запорожская пехота неизмеримо превосходила конницу. Согласно ему, 200 поляков с легкостью одерживали верх над 2000 запорожской кавалерии, но зато 100 пеших казаков могли, заняв оборону, долго сражаться против тысячи поляков. – *Примеч. автора.*

Весь табор неспешно продвигался к северу, покрывая, точно грозная лавина, речки, дубравы и курганы, наполняя шумом и громом степное запустенье.

А со стороны Чигирина, с северного рубежа пустыни, катилась навстречу ему другая лавина – коронные войска, предводимые молодым Потоцким. Тут – запорожцы и татары шли, точно на свадьбу, с веселой песней на устах; там – сосредоточенные гусары продвигались в угрюмом молчании, без воодушевления идучи на бесславную эту войну. Здесь – под малиновым стягом старый опытный военачальник грозно потрясал булавою, словно не сомневаясь в победе и возмездии; там – во главе ехал молодой человек с задумчивым лицом, словно бы чувствуя свой скорый и неминуемый конец.

Разделяли их пока что огромные степные просторы.

Хмельницкий не спешил, ибо полагал, что чем больше углубится молодой Потоцкий в степь, тем больше оторвется от обоих гетманов, а значит, легче может быть побежден. А меж тем все новые и новые беглые из Чигирина, Поволочи, изо всех побережных городов украинских всякий день увеличивали запорожские рати, заодно принося и вести о противнике. От них Хмельницкий узнал, что старый гетман послал сына всего лишь с двумя тысячами войска по суше<sup>61</sup>, шесть же тысяч реестровых и тысячу немецкой пехоты байдаками по Днепру. Обе части войска получили приказ поддерживать друг с другом непрерывную связь, но приказ был в первый же день нарушен, ибо челны, подхваченные быстрым днепровским течением, значительно опередили гусар, идущих берегом, чье движение весьма замедляли переправы через все речки, впадающие в Днепр.

А Хмельницкий, желая, чтобы разобщенность эта увеличилась еще больше, не спешил. На третий день похода он стал лагерем возле Камышьей Воды, чтобы дать войску отдых.

Меж тем конные отряды Тугай-бея привели языков, двух драгунов, сразу же за Чигирином сбежавших из армии Потоцкого. Скача день и ночь, драгунам удалось значительно опередить свои войска. Перебежчиков незамедлительно привели к Хмельницкому.

Сообщения их подтвердили то, что Хмельницкому было уже о силах молодого Потоцкого известно, но сообщили беглые драгуны и новость: что казаками, плывущими на байдаках вместе с немецкой пехотой, командуют престарелый Барабаш и Кречовский.

Услыхав последнее имя, Хмельницкий вскочил.

– Кречовский? Полковник переяславских реестровых?

– Он самый, ясновельможный гетман! – ответили драгуны.

Хмельницкий повернулся к окружавшим его полковникам.

– В поход! – скомандовал он громовым голосом.

Не прошло и часа, а войско уже выступило, хотя солнце садилось и ночь не обещала быть погожей. Какие-то страшные ржавые тучи обложили на западной стороне небо; похожие на чудищ, на левиафанов, они сползались одна с одной, словно намереваясь затеять побоище.

Табор направился влево, к берегу Днепра. На этот раз шли без шума, без песен, барабанов и литавр, но торопливо, насколько это позволяли травы, такие здесь буйные, что прорывавшиеся сквозь них полки порою пропадали из виду, и цветные знамена, казалось, сами по себе плыли в степном просторе. Конница прокладывала дорогу повозкам и пехоте, но те, с трудом продвигаясь, вскоре остались далеко в тылу. Ночь тем временем опустилась в степи. Огромная красная луна неторопливо выкатилась в небеса; закрываемая то и дело тучами, она разгоралась и гасла, точно свитьня, которую пытается задуть порывистый ветер.

Время приближалось уже к полуночи, когда взорам казаков и татар предстали черные исполкинские громады, отчетливо выделявшиеся на темном просторе небес.

Это были стены Кудака.

---

<sup>61</sup> Русинские источники, например, Самоил Величко, оценивают число коронных войск в 22000. Цифра эта безусловно неверная. – *Примеч. автора.*

Передовые отряды под покровом темноты, точно волки или птицы ночные, осторожно и тихо приблизились к замку. Вдруг да получится овладеть уснувшей крепостью!

Но внезапная молния на валу разорвала мрак, страшный грохот потряс днепровские утесы, и огненное ядро, прочертив в небе пламенную дугу, упало в степные травы.

Угрюмый циклоп Гродзицкий давал знать, что не дремлет.

– Пес одноглазый! – пробормотал Тугай-бею Хмельницкий. – В темноте видит.

Казаки миновали замок, о штурме которого сейчас, когда против них самих шло коронное войско, нечего было и думать, и двинулись дальше. Пан же Гродзицкий палил им вслед так, что стены крепостные сотрясались, но не затем, чтобы урон нанести, ибо войско проходило на значительном расстоянии, а затем, чтобы предостеречь своих, которые подплывали по Днепру и могли оказаться где-то неподалеку.

Первым делом пальба кудаких пушек отозвалась в сердце и ушах пана Скшетуского. Молодой рыцарь, которого по приказу Хмеля везли в казацком обозе, на второй день тяжело расхворался. В стычке на Хортице он хотя и не получил ни одной смертельной раны, но потерял столько крови, что жизнь в нем едва теплилась. Раны его, по-казацки обихоженные старым кантареем, открылись, началась горячка, и в ту ночь лежал он в полубеспамятстве на казацкой телеге, ничего о божьем свете не ведая. Очнуться заставили его орудия Кудака. Он открыл глаза, приподнялся на телеге и огляделся. Казацкий табор пробирался во тьме, точно вереница призраков, а замок грохотал и клубился розовыми дымами; огненные шары скакали по степи, хрипя и рыча, как разъяренные псы; и, когда пан Скшетуский увидел это, такое отчаяние, такая тоска охватили его, что он готов был умереть, лишь бы только унести душу к своим. Война! Война! А он во вражьем стане, безоружный, беспомощный, не помышляющий даже встать с телеги. Речь Посполитая в опасности, он же не поспешает ее спасти! А там, в Лубнах, наверно, уже войско выступает. Князь с молниями во взоре летает перед строем и в какую сторону булавой кивнет, там сразу триста копий, словно триста громов грянут. И тотчас разные знакомые лица стали появляться перед наместником. Маленький Володыёвский мчится во главе драгун, и хоть в руке его всегдашняя тонкая сабеля, но это всем рубака рубака: с кем состукнет клинок, тот, считай, уже в могиле; а вот и пан Подбипятка замахивается своим палаческим Сорвиглавцем! Срубит он три головы или не срубит? Ксендз Яскульский объезжает хоругви и, воздев руки, творит молитву, но, будучи старым жолнером, не утерпев, то и дело гаркает: «Бей! Убивай!» А вот уже и панцирные склонили мечи на пол-уха лошадиного, полки взяли с места, разгоняются, мчатся, битва, шквал!

Внезапно видение меняется. Наместнику является Елена. Бледная, с распущенными волосами, она взывает: «Спаси же, Богун за мною гонится!» Скшетуский срывается с телеги, но чей-то голос, на этот раз настоящий, говорит ему:

– Лежи, д и т и н о, не то свяжу.

Это обозный есаул Захар, которому Хмельницкий наказал с наместника глаз не спускать, снова укладывает его на телегу, накрывает конской шкурою и спрашивает:

– Щ о з т о б о ю?

И пан Скшетуский вовсе приходит в память. Призраки исчезают. Вozy влекутся у самого днепровского берега. Холодное дуновение прилетает с реки, и ночь бледнеет. Речные птицы затевают предрассветный гомон.

– Слушай, Захар! Мы разве уже миновали Кудак? – спрашивает Скшетуский.

– Миновали! – отвечает запорожец.

– А куда же вы идете?

– Н е з н а ю. Б и т в а к а ж е, б у д е, а л е н е з н а ю.

От слов этих сердце радостно забилося в груди пана Скшетуского. Он полагал, что Хмельницкий станет осаждать Кудак и с этого начнет военные действия. Но поспешность, с какою казаки шли вперед, позволяла предположить, что коронные войска уже близко и что Хмель-

ницкий потому обошел крепость, чтобы не оказаться вынужденным вести под ее обстрелом сражение. «Возможно, я уже сегодня буду свободен», – подумал наместник и благодарно вознес очи к небесам.



## Глава XIV

Грохот кудацких пушек услышали и войска, плывшие на байдаках под командой старого Барабаша и Кречовского.

Их было шесть тысяч реестровых и regiment отборной немецкой пехоты, где полковничал Ганс Флик.

Миколай Потоцкий долго не решался послать казаков против Хмельницкого, но, поскольку Кречовский пользовался среди них огромным влиянием, а Кречовскому гетман доверял бесконечно, то ограничился он тем, что велел казакам присягнуть в верности и с Богом отправил их в поход.

Кречовский, воин весьма опытный и многожды в прежних войнах прославившийся, был человеком Потоцких. Потоцким он обязан был и званием полковника, и дворянством, которого они добились для него на сейме, и, наконец, пожизненно полученными от них обширными наделами в месте слияния Днестра и Ладавы.

Столько уз связывало его с Речью Посполитой и Потоцкими, что даже малейшее недоверие не могло зародиться в гетмановой душе. Ко всему был этот человек в расцвете сил, лет этак около пятидесяти, и великое поприще на службе отечеству ожидало его в будущем. Кто видел в нем даже преемника Стефану Хмелецкому, начинавшему свой путь простым степным рыцарем, а завершившему – воеводой киевским и сенатором Речи Посполитой. Так что от самого Кречовского зависело, пойдет ли он тем путем, на который привело его мужество, неукротимая энергия и безмерная амбиция, вождевшая сколько богатств, столько и чинов. Ради этой самой амбиции он весьма добивался недавно Литинского староства, а когда в конце концов досталось оно Корбуту, Кречовский в глубине души затаил досаду и, можно сказать, даже отболел от зависти и огорчения. Сейчас судьба как бы опять улыбалась ему, ибо, получив от великого гетмана столь важное воинское задание, он смело мог рассчитывать, что имя его дойдет и до королевских ушей. А было это делом немаловажным, ибо засим оставалось лишь поклониться господину своему, чтобы получить привилегию с желанными шляхетской душе словами: «Б и л н а м ч е л о м и п р о с и л е г о п о ж а л о в а т ь , а м ы , п о м н я е г о у с л у г и , д а е м», и т. д. Таким путем получали на Руси богатства и чины; таким путем огромные пространства незаселенных степей, до того принадлежавшие Богу и Речи Посполитой, переходили в частные руки; таким путем худородный становился властелином и мог тешить себя мыслью, что отпрыски его среди сенаторов заседать будут.

Правда, Кречовского заедало, что в порученной ему теперь миссии приходится делиться властью с Барабашем, хотя двоевластие это и было по сути номинальным. Старый черкасский полковник, особенно в последнее время, так постарел и одряхлел, что, пожалуй, телом только принадлежал этому миру, душа же его и разум находились постоянно в оцепенении и угасании, обычно предвещающими смерть. Когда объявили поход, он словно бы очнулся и начал действовать довольно ретиво; даже можно было сказать, что от голоса военных труб веселее заходила в нем старая солдатская кровь, ведь был он в свое время прославленным рыцарем и степным вожаком; но когда выступили, плеск весел убаюкал старика, казацкие песни и плавное движение байдаков усыпили, и позабыл он о мире божьем. Всем начальствовал и руководил Кречовский. Барабаш просыпался только поесть, а поевши, по привычке о чем-нибудь спрашивал. От него отделялись каким-нибудь несложным ответом, и он, вздохнув, говорил: «От, рад бы я с другою войною в могилу лечь, да, видать, воля Божья!»

Между тем связь с коронным войском, которое вел Стефан Потоцкий, сразу же прервалась. Кречовский досадовал, что гусары и драгуны идут слишком медленно, слишком мешкают у переправ, что молодой гетманич новичок в военном искусстве, однако распорядился налечь на весла и плыть вперед.

Так что челны устремлялись с днепровским течением к Кудаку, все больше отрываясь от коронных войск.

И вот однажды ночью послышалась канонада.

Барабаш даже не проснулся, зато Флик, плывший в авангарде, пересел в лодчонку и подгреб к Кречовскому.

– Ваша милость полковник, – сказал он. – Это кудацкие пушки. Как прикажете поступить?

– Останови, сударь, байдаки. Заночуем в очеретах.

– Хмельницкий, как видно, осадил замок. Я полагаю, следует поспешить на выручку.

– А тебя, сударь, не спрашивают, что ты полагаешь, тебе приказывают. Командую я.

– Ваша милость полковник...

– Стоять и ждать! – отрезал Кречовский.

Однако, видя, что дельный немец дергает рыжую свою бороду и уступать без разъяснений не собирается, добавил примирительней:

– Каштелян к утру может подтянуться с конницей, а крепость за одну ночь не возьмут.

– А если не подтянется?

– Хоть и два дня ждать будем. Ты, сударь, Кудака не знаешь! Они об его стены зубы сломают, а я без каштеляна на выручку не двинусь, так как и полномочий таких не имею. Это его дело.

Правота явно была на стороне Кречовского, поэтому Флик, более не настаивая, отплыл к своим немцам. Спустя малое время байдаки стали подходить к правому берегу и забиваться в камыши, более чем на милю покрывавшие широко разлившуюся в этом месте реку. Наконец плески весел умолкли, суда полностью скрылись в зарослях, и река, казалось, совершенно опустела. Кречовский запретил жечь огонь, петь песни и разговаривать, так что в окрестности воцарилась тишина, тревожимая лишь далекими отголосками кудацких орудий.

На суденышках, однако, никто, кроме Барабаша, не смыкал глаз. Флик, человек рыцарской повадки и рвущийся в дело, птицей бы полетел к Кудаку. Казаки потихоньку переговаривались, как, мол, оно будет с крепостью? Выстоит или не выстоит? А грохот между тем усиливался. Никто не сомневался, что замок отбивает внезапное нападение. «Хмель не шутит, да и Гродзицкий не шутит! – шептались казаки. – А что ж завтра будет?»

Этот же вопрос, вероятно, задавал себе и Кречовский, в глубокой задумчивости сидевший на носу своего байдака. Хмельницкого знал он давно и хорошо, всегда считал его человеком необычайных способностей, которому просто негде было развернуться и воспарить орлом, но сейчас Кречовский поколебался в своем мнении. Орудия неумолчно грохотали, а это могло означать, что Хмельницкий и в самом деле осадил крепость.

«Если оно действительно так, – размышлял Кречовский, – тогда он человек конченный!»

Как же это? Подняв Запорожье, обеспечив себе ханскую помощь, собравши армию, какою ни один из атаманов до сих пор не располагал, вместо того чтобы незамедлительно поспешать на Украину, поднять престолярное, привлечь на свою сторону городовых, разгромить как можно скорее гетманов и овладеть всей страной, пока ей на выручку не собралось новое войско, он, Хмельницкий, он, опытный воитель, штурмует неприступную крепость, которая может связать ему руки на год? И он допустит отборнейшим силам своим разбиться о стены Кудака, как разбивается днепровский вал о скалы порогов? И станет ждать возле Кудака, пока гетманы не соберут силы и не обложат его, как Наливайку у Солоницы?..

– Это человек конченный! – еще раз повторил Кречовский. – Собственные люди его выдадут. Неудачный приступ породит недовольство и беспорядки. Искра бунта зачухнет, едва разгоревшись, и Хмельницкий сделается не опасней меча, обломившегося у рукояти. Какой глупец!

«Ergo<sup>62</sup>, – подумал пан Кречовский, – ergo, завтра я высаживаю своих людей, а в последующую ночь на обескровленного штурмами внезапно ударяю. Запорожцев перебью поголовно, а Хмельницкого связанным брошу к гетманским стопам. Сам же он и виноват, потому что все могло случиться иначе».

Тут непомерное самолюбие пана Кречовского вознеслось на соколиных крылах до небес. Он знал, что молодой Потоцкий никаким образом до завтрашней ночи подойти не успеет, а значит, кто отсечет голову гидре? Кречовский! Кто погасит смуту, которая страшным пожаром может перекинуться на всю Украину? Кречовский! Возможно, старый гетман и поморщится немного, что все совершилось без его сына, но скоро поостынет, а все лучи славы и милостей королевских тем временем увенчают чело победителя.

Ах нет! Ведь придется делиться славою со старым Барабашем и Гродзицким! Пан Кречовский сперва сильно омрачился, но тут же повеселел. Старое это бревно, Барабаш, уже одной ногою в могиле, а Гродзицкому позволь только в Кудаке сидеть и татар время от времени пугать, больше ничего ему не надобно. Так что остается только он, Кречовский.

Вот бы гетманства украинского добиться!

Звезды мерцали в небесах, а полковнику казалось, что это камни драгоценные в булавке сверкают; ветер шуршал в очерете, а ему чудилось, что шумит бунчук гетманский.

Пушки Кудака продолжали грохотать.

«Хмельницкий шею под топор подставит, – продолжал размышлять полковник, – но тут он сам виноват! А могло быть по-другому! Вот если бы он сразу пошел на Украину!.. Могло по-другому быть! Там все кипит и бурлит, там порох, ждущий искры. Речь Посполитая могуча, но обороть Украину у нее сил не хватит, а король немолод и немощен!

Одна выигранная запорожцами битва имела бы неслыханные последствия...»

Кречовский спрятал лицо в ладони и сидел неподвижный, а звезды меж тем скатывались все ниже и ниже и потихоньку пропадали за степной кромкой. Перепела, сокрытые в травах, начали подавать голоса. Близился рассвет.

В конце концов мысли полковника утвердились в единственном решении. Завтра он ударит на Хмельницкого и разобьет его в пух и прах. Через его труп достигнет он богатств и почестей, станет орудием кары в руке Речи Посполитой, ее избавителем, а в будущем ее сановником и сенатором. После победы над Запорожьем и татарами ему ни в чем не откажут.

А Литинского староства все ж не дали.

Вспомнив это, Кречовский сжал кулаки. Не дали ему староства, несмотря на могучую поддержку протекторов его, Потоцких, несмотря на собственные его военные заслуги, и все потому, что был он homo novus<sup>63</sup>, а его соперник от князей родословие вел. В этой Речи Посполитой не довольно стать шляхтичем, надо дожидаться, чтобы шляхетство твое покрылось плесенью, как винная бутылка, чтобы заржавело, точно железо.

Только Хмельницкий мог изменить заведенный порядок, к чему, надо думать, и сам король отнесся бы благосклонно, но предпочел, несчастный, разбить башку о кудачные утесы.

Полковник понемногу успокаивался. Ну, не дали ему староства – что из того? Тем более сделают теперь все, чтобы его вознаградить, особенно же после победы и подавления бунта, после избавления Украины от братоубийственной войны, – да чего там! – всей Речи Посполитой избавления! Тут уж ему ни в чем не откажут, тут ему и в Потоцких надобности не будет...

Сонная голова его склонилась на грудь, и он уснул, грезя о староствах, каштелянствах, о пожалованиях королевских и сеймовых...

---

<sup>62</sup> Итак (лат.).

<sup>63</sup> выскочка (лат.).

Когда Кречовский проснулся, уже развиднелось. На байдаках все еще спали. В отдалении поблескивали в бледном, предрассветном свете днепровские воды. Вокруг была мертвая тишина. Тишина эта его и разбудила.

Кудацкие пушки не палили.

«Что это? – подумал Кречовский. – Первый штурм отбит? Или же Кудак взяли?»

Но такого быть не может!

Нет! Просто отброшенное казачье затаилось где-нибудь подальше от крепости и зализывает раны, а кривой Гродзицкий поглядывает на них из бойниц, поточнее наводя пушки.

Завтра они снова пойдут на приступ и снова сломают зубы.

Меж тем совсем поутрело. Кречовский поднял людей на своем байдаке и послал лодку за Фликом.

Тот незамедлительно прибыл.

– Сударь полковник! – сказал Кречовский. – Если до вечера каштелян не подойдет, а к ночи штурм не повторится, мы двинемся крепости на помощь.

– Мои люди готовы, – ответил Флик.

– Раздай же им порох и пули.

– Уже роздано.

– Ночью высадимся на берег и безо всякого шума пойдем степью. Нападем неожиданно.

– Gut! Sehr gut!<sup>64</sup> Но не проплыть ли на байдаках еще немного? До крепости мили четыре. Для пехоты неблизко.

– Пехота сядет на запасных лошадей.

– Sehr gut!

– Пускай люди тихо сидят по камышам, на берег не выходят и шума не поднимают. Огня не зажигать, а то нас дым выдаст. Неприятель не должен знать о нас ничего.

– Туман такой, что и дыма не увидят.

И точно, сама река и рукав ее, заросший очеретом, в котором скрывались байдаки, и степи – всё, куда ни погляди, было погружено в белый непроглядный туман. Правда, пока что было раннее утро, а потом туман мог рассеяться и степные пространства открыть.

Флик отплыл. Люди на байдаках потихоньку просыпались; тотчас же было объявлено распоряжение Кречовского сидеть тихо, так что за утреннюю еду принимались без обычного бивачного гама. Пройди кто-нибудь берегом или проплыви по реке, ему бы даже в голову не пришло, что в излучине этой находится несколько тысяч человек. Коней, чтобы не ржали, кормили с руки. Байдаки, скрытые туманом, затаившись, стояли в камышовой чащобе. То и дело прошмыгивала лишь маленькая двухвесельная лодчонка, развозившая сухари и приказы, но в остальном царило гробовое молчание.

Внезапно вдоль всего рукава в травах, тростнике, камышах и прибрежных зарослях послышались странные и многочисленные голоса:

– Пугу! Пугу!

Молчание...

– Пугу! Пугу!

И снова наступила тишина, словно бы голоса эти, окликавшие с берега, ждали ответа.

Ответа не было. Призывы прозвучали и в третий раз, но уже резче и нетерпеливее:

– Пугу! Пугу!

Тогда со стороны челнов из тумана раздался голос Кречовского:

– Кто еще там?

– Казак с лугу!

---

<sup>64</sup> Хорошо! Очень хорошо! (нем.)

У солдат, затаившихся на байдаках, беспокойно забились сердца. Им этот таинственный оклик был хорошо знаком. С его помощью запорожцы опознавали друг друга на зимовниках. Этим же самым манером в военное время приглашали на переговоры реестровых и городовых собратьев, среди которых было немало тайно принадлежавших к братству.

Снова раздался голос Кречовского:

– Чего надо?

– Богдан Хмельницкий, гетман запорожский, предупреждает, что пушки наведены на излучину.

– Передайте гетману запорожскому, что наши наведены на берег.

– Пугу! Пугу!

– Чего еще надо?

– Богдан Хмельницкий, гетман запорожский, приглашает на разговор друга своего, пана полковника Кречовского.

– Пускай сперва заложников выставит.

– Десять куренных.

– Идет!

В ту же секунду берег излучины, точно цветами, зацвел фигурами запорожцев, вскочивших на ноги из трав, где они, затаившись, прятались. Издали, со стороны степи, появилась их конница и пушки, над которыми развевались десятки и сотни стягов, знамен и бунчуков. Шли отряды под барабан и с песней. Все это скорее походило на радостное приветствие, чем на столкновение враждебных друг другу войск.

Солдаты с байдаков ответили криками. Тем временем подошли челны, доставившие куренных атаманов. Кречовский сел в один из них и направился к берегу. Там ему подвели коня и сразу же препроводили к Хмельницкому.

Тот, завидев его, снял шапку, а затем радушно приветствовал.

– Любезный полковник! – сказал он. – Старый друг мой и кум! Когда коронный гетман велел тебе ловить меня и доставить, ты этого делать не стал, а меня надоумил спастись бегством, за каковой твой поступок я обязан тебе благодарностью и братской любовью.

Сказав это, он чуть ли не с почтением протянул руку, но темное лицо Кречовского осталось холодно, точно лед.

– Теперь же, когда ты, досточтимый гетман, спасся, – сказал он, – ты поднял восстание.

– За свои это, твои и всей Украины обиды иду я взыскивать с привилегиями королевскими в руках, оставаясь в надежде, что государь наш милостивый не поставит мне это в вину.

Кречовский, быстро заглядывая в глаза Хмельницкому, с нажимом сказал:

– Куда-к осадил?

– Я? Ума я лишился, что ли? Куда-к я обошел и даже ни разу не выстрелил, хотя кривой старик оповестил о себе пушками. Мне на Украину спешно было, не в Куда-к; к тебе спешно было, к старому другу и благодетелю моему.

– Чего тебе от меня надобно?

– Давай отъедем маленько в степь, там и поговорим.

Оба тронули коней и поехали. Отсутствовали они около часа. По возвращении лицо Кречовского было бледно и страшно. Он почти тотчас же стал прощаться с Хмельницким, сказавшим ему напутно:

– Двое нас будет на Украине, а над нами только король, и более никого.

Кречовский вернулся к байдакам. Старый Барабаш, Флик и весь казацкий чин ожидали его с нетерпением.

– Ну что? Ну что? – слышалось со всех сторон.

– Всем высадиться на берег! – повелительным тоном скомандовал Кречовский.

Барабаш поднял заспанные веки, какое-то странное пламя сверкнуло в глазах старика.

– Как это? – спросил он.

– Всем на берег! Мы сдаемся!

Кровь прихлынула на бледное и пожелтевшее лицо Барабаша. Он поднялся с места, на котором сидел, выпрямился, и внезапно этот сгорбленный, одряхлевший человек преобразился в исполина, полного сил и бодрости.

– Измена! – рявкнул он.

– Измена! – повторил Флик, хватаясь за рукоять рапиры.

Но прежде чем он ее выхватил, Кречовский свистнул саблей и одним ударом уложил его на палубе.

Затем он спрыгнул с байдака в челнок, стоявший рядом, где четверо запорожцев держали весла наготове, и крикнул:

– Гребите между байдаков!

Челнок помчался стрелой, а Кречовский, выпрямившись, с горящим взглядом и шапкой на окровавленной сабле, кричал могучим голосом:

– Дети! Не станем убивать своих! Слава Богдану Хмельницкому, гетману запорожскому!

– Слава! – откликнулись сотни и тысячи голосов.

– На погибель ляхам!

– На погибель!

Воплям с байдаков отвечали крики запорожцев с берега, однако те, кто находился на челнах, стоявших в отдалении, еще не понимали, в чем дело, и лишь когда повсюду разнеслась весть, что Кречовский переходит к запорожцам, истинное безумие радости охватило казаков. Шесть тысяч шапок взлетело в воздух, шесть тысяч мушкетов грохнули выстрелами. Байдаки заходили под ногами молодцев. Поднялся гвалт и замешательство. Но радости этой суждено было, однако, обогреться кровью, ибо старик Барабаш предпочел умереть, чем предать знамя, под которым прослужил всю свою жизнь. Несколько десятков черкасских людей не покинули его, и завязался бой, короткий, страшный, как все сражения, в которых горстка людей, ищущая не милости, но смерти, обороняется от натиска толпы. Ни Кречовский, ни казаки не ожидали такого сопротивления. В старом полковнике проснулся прежний лев. На призыв сложить оружие он ответил выстрелами, оставаясь у всех на виду с булавою в руке, с развевающимися белыми волосами и с юношеским пылом отдающий зычным голосом приказания. Челн его был окружен со всех сторон. Люди с байдаков, не имевшие возможности подгребсти, прыгали в воду и, вплавь или продираясь сквозь камыши, достигнув челна, хватались за борта и в бешенстве на него карабкались. Сопротивление было недолгим. Верные Барабашу казаки, исколотые, изрубленные, просто растерзанные руками, покрыли своими телами палубу; старик же с саблей в руке еще защищался.

Кречовский пробился к нему.

– Сдавайся! – крикнул он.

– Изменник! На погибель! – ответил Барабаш и замахнулся саблей.

Кречовский быстро отступил в толпу.

– Бей! – закричал он казакам.

Но никто, казалось, первым не хотел поднять руку на старика, и тут полковник, поскользнувшись в кровавой луже, к несчастью, упал.

Поверженный старик уже не вызывал прежнего почтения и страха, и тотчас более дюжины клинков вонзились в его тело. Он же успел лишь воскликнуть: «Иисусе Христе!»

Все кинулись рубить его и рассекали в куски. Отрезанную голову стали перекидывать с байдака на байдак, играя ею, точно мячом, пока, после неловкого швырка, она не упала в воду.

Оставались еще немцы, с которыми справиться было потруднее, ибо regiment состоял из тысячи старых и понаторевших во многих войнах солдат.

Правда, brave Флик погиб от руки Кречовского, но из командиров в регименте остался Иоганн Вернер, подполковник, ветеран немецкой войны.

Кречовский был почти уверен в победе, так как немецкие байдаки со всех сторон окружены были казацкими, однако он хотел сберечь для Хмельницкого столь немалый отряд несравненной и великолепно вооруженной пехоты; вот почему задумал он вступить с немцами в переговоры.

Какое-то время казалось, что Вернер не станет противиться, он спокойно беседовал с Кречовским и внимательно выслушивал все обещания, на которые вероломный полковник не скупился. Недополученное жалованье имело быть немедленно и за прошлое, и за год вперед полностью выплачено. Через год кнехты, пожелай они, могли уйти хоть бы даже и в коронный лагерь.

Вернер, делая вид, что обдумывает предложенное, сам тем временем тихо приказал челнам сплыться таким образом, чтобы образовалось тесное кольцо. По окружности этого кольца в полном боевом строю, с левой ногой, для произведения выстрела выдвинутой вперед, и с мушкетами у правого бедра, выстроилась стена пехотинцев, людей рослых и сильных, одетых в желтые колеты и такого же цвета шляпы.

Вернер с обнаженной шпагой в руке стоял в первой шеренге и сосредоточенно размышлял.

Наконец он поднял голову.

– Herr Hauptmann!<sup>65</sup> – сказал он. – Мы согласны!

– И только выиграете на новой службе! – радостно воскликнул Кречовский.

– Но при условии...

– Согласен на любое.

– Когда так, то хорошо. Наша служба Речи Посполитой кончается в июне. С июня мы служим вам.

Проклятие сорвалось было с уст Кречовского, однако он сдержался.

– Уж не шутишь ли ты, сударь лейтенант? – спросил он.

– Нет! – флегматически ответил Вернер. – Солдатский долг требует от нас не нарушать договора. Служба кончается в июне. Хоть мы и служим за деньги, но изменниками быть не желаем. Иначе никто не будет нас нанимать, да и вы сами не станете доверять нам, ибо кто поручится, что в первой же битве мы снова не перейдем на сторону гетманов?

– Чего же вы тогда хотите?

– Чтобы нам дали уйти.

– Не будет этого, безумный ты человек! Я вас всех до единого перебить велю.

– А своих сколько потеряешь?

– Ни один из ваших не уйдет.

– А от вас и половины не останется.

Оба говорили правду, поэтому Кречовский, хотя флегматичность немца всю кровь распалила в нем, а бешенство чуть ли не душило, боя начинать не хотел.

– Пока солнце не уйдет с залива, – крикнул он, – подумайте! Потом, знайте, велю курки потрогать.

И поспешно отплыл в своем челноке, чтобы обсудить положение с Хмельницким.

Потянулись минуты ожидания. Казацкие байдаки окружили плотным кольцом немцев, сохранявших хладнокровие, какое только бывалые и очень опытные солдаты способны сохранять перед лицом опасности. На угрозы и оскорбления, раздававшиеся с казацких байдаков, отвечали они небрежительным молчанием. Поистине внушительно выглядело это спокойствие

---

<sup>65</sup> Господин атаман! (нем.)

в сравнении с непрестанными вспышками ярости молодцев, которые, грозно потрясая пиками и пищалями, скрипя зубами и бранясь, нетерпеливо ждали сигнала к бою.

Между тем солнце, скатываясь с южной стороны неба к западной, потихоньку уводило свои золотые отблески с излучины, постепенно погружавшейся в тень.

Наконец осталась только тень.

Тогда запели трубы, и тотчас же голос Кречовского прокричал в отдалении:

– Солнце зашло! Надумали?

– Да! – ответил Вернер и, повернувшись к солдатам, взмахнул обнаженной шпагой. – Feuer!<sup>66</sup> – скомандовал он спокойным, флегматичным голосом.

И грохнуло! Плеск тел, падающих в воду, бешеные крики и торопливая пальба ответили голосам немецких мушкетеров. Пушки, подвезенные к берегу, басовито подали голос и стали изрыгать на немецкие челны ядра. Дымы вовсе затянули излучину. Среди воплей, грома, свиста татарских стрел, трескотни пищалей и самопалов слаженные мушкетные залпы давали знать, что немцы борьбы не прекращают.

На закате битва все еще кипела, но дело шло к развязке. Хмельницкий вместе с Кречовским, Тугай-беем и полутора десятками атаманов подъехал к самому берегу обозреть сражение. Раздутые ноздри его втягивали пороховой дым, а слух с наслаждением внимал воплям тонувших и убиваемых немцев.

Все три военачальника глядели на эту бойню, как на зрелище, ко всему бывшее им добрым предзнаменованием.

Сражение стихало. Выстрелы умолкли, но зато все более громкие клики казацкого триумфа возносились к небесам.

– Тугай-бей! – сказал Хмельницкий. – Это день первой победы.

– А ясыри где? – огрызнулся мурза. – Не нужны мне такие победы!

– Ты их на Украине возьмешь. Стамбул и Галату переполнишь своими пленниками!

– А хоть и тебя продам, если больше некого будет!

Сказав это, дикий Тугай зловеще засмеялся и, немного погодя, добавил:

– Однако я охотно взял бы этих франков.

Между тем битва утихла вовсе. Тугай-бей повернул коня к лагерю, за ним последовали остальные.

– Теперь к Желтым Водам! – воскликнул Хмельницкий.

---

<sup>66</sup> Огонь! (нем.)



## Глава XV

Наместник, слыша звуки битвы, с волнением ждал ее конца, решив сперва, что Хмельницкий сражается со всей гетманской ратью.

Однако под вечер старый Захар рассказал, как все было на самом деле. Известие о предательстве Кречовского и уничтожении немцев совершенно потрясло молодого рыцаря, оно было предвестием грядущих измен, а наместник прекрасно знал, что гетманские войска состоят в основном из казаков.

Удручения наместника умножались, и ликование в запорожском стане добавляло им только горечи. Все складывалось как нельзя хуже. О князе ничего не было слышно, а гетманы, как видно, совершили страшную ошибку, ибо, вместо того чтобы двинуться со всем войском к Кудак или по крайней мере ожидать неприятеля в укрепленных лагерях на Украине, они разделили свои войска и сами себя ослабили, создав таким образом безграничные возможности для вероломства и предательства. Среди запорожцев, правда, уже и прежде ходили разговоры о Кречовском и об отдельной военной экспедиции под водительством Стефана Потоцкого, однако наместник не хотел этим слухам верить. Он полагал, что речь идет всего лишь об усиленных передовых отрядах, которые в нужный момент будут отведены назад. Однако все произошло иначе. Хмельницкий благодаря измене Кречовского умножил свои войска несколькими тысячами солдат, а над молодым Потоцким нависла страшная опасность. Его, лишенного помощи и заплутавшего в степях, Хмельницкий мог теперь легко окружить и разгромить.

Страдая от ран, изводясь переживаниями, Скшетуский в бессонные ночи свои утешался только мыслью о князе. Звезда Хмельницкого неминуемо померкнет, когда поднимется в своих Лубнах князь. Кто знает, не соединился ли он уже с гетманами? И пускай значительны были силы Хмельницкого, и пускай кампания начиналась удачно, и пускай с ним шел Тугай-бей, а если потребуется, обещал прийти на помощь и сам «царь» крымский, Скшетуский даже и мысли не допускал, что эта заваруха может продлиться долго, что один казак способен потрясти всю Речью Посполитой и сломить грозную мощь ее. «У порогов украинских вал этот разобьется», — думал наместник. Да и не так ли кончались они, все казацкие мятежи? Вспыхнув, точно пламя, они угасали при первом же столкновении с гетманами. Так оно было до сих пор. Когда с одной стороны хваталось за оружие гнездо низовых хищников, а с другой — держава, берега которой омывали два моря, развязку предвидеть было легко. Гроза не может продолжаться бесконечно, а значит, она минует и должно распогодиться. Сознание этого поддерживало пана Скшетуского и, можно сказать, было для него живительно, ибо что ни говори, а терзало его бремя столь невыносимое, какого до сей поры ему ни разу в жизни испытать не пришлось. Гроза, хоть и пройдет, может уничтожить нивы, разрушить жилища и нанести непоправимый урон. Ведь из-за нее, из-за грозы этой, он сам чуть не поплатился жизнью, лишился сил и угодил в постылую неволю как раз тогда, когда свобода для него важнее жизни самой. Как же в таком случае от заварухи могли уберечься существа куда более слабые и за себя постоять не умеющие? Как там Елена в Разлогах?

Но она, вероятно, уже в Лубнах. Елена снилась наместнику в окружении доброжелательных людей, обласканная самим князем и княгиней Гризельдой, боготворимая рыцарями, а все же тоскующая по своему гусарику, запропастившемуся где-то в Сечи. Но наступит наконец день, когда гусарик вернется. Сам Хмельницкий обещал ему свободу, а лавина казацкая между тем катится и катится к порогу Речи Посполитой, но, когда разобьется, придет конец печалям, горестям и тревогам.

Лавина и правда катилась. Хмельницкий, не мешкая, свернул лагерь и двинулся навстречу гетманскому сыну. Силы его были теперь и в самом деле могучи, ибо вместе с казаками Кречовского и чамбулом Тугай-бея вел он около двадцати пяти тысяч хорошо подготов-

ленных и рвущихся в дело бойцов. О войске Потоцкого достоверных известий не было. Перебежчики сообщали, что у него две тысячи тяжелой кавалерии и около дюжины пушчонок. При таком соотношении исход сражения угадать было трудно, ведь одной атаки страшных гусар зачастую бывало довольно, чтобы одолеть десятикратно превосходящие силы. Так, Ходкевич, гетман литовский, с тремя тысячами гусар разбил в пух и прах под Кирхгольмом в свое время осмнадцать тысяч отборной пехоты и кавалерии шведской; так, под Клушином одна панцирная хоругвь в ошеломительном броске расколотила несколько тысяч английских и шотландских наемников. Хмельницкий об этом знал и поэтому шел, как сообщает хронист, неспешно и осмотрительно: «...многими уму своего очима, яко ловец хитрый, на вышестке строны поглядая и сторожу на милю и далее од обозу маючи»<sup>67</sup>. Так подошел он к Желтым Водам. Снова были схвачены два языка. Они тоже подтвердили малочисленность коронных сил и донесли, что каштелян через Желтые Воды уже переправился. Услыхав это, Хмельницкий тотчас остановился и стал вести необходимые фортификационные работы.

Сердце его радостно билось. Если Потоцкий решится штурмовать, от поражения гетманскому сыну не уйти. В поле казакам с панцирными не сравниться, но, окопавшись, дерутся они отменно и с таким огромным преимуществом в силах штурмы отобьют обязательно. Хмельницкий весьма рассчитывал на молодость и неопытность Потоцкого. Однако при молодом каштеляне находился бывалый воин, живецкий старостич пан Стефан Чарнецкий, гусарский полковник. Этот опасность почуял и склонил каштеляна отойти обратно за Желтые Воды.

Хмельницкому не оставалось ничего больше, как пойти за ними. Следующим днем, преодолев желтоводские трясины, оба войска очутились лицом к лицу.

Но ни один из военачальников не желал ударить первым. Враждебные станы принялись торопливо окружать позиции шанцами. Была суббота, пятое мая. Весь день лил нескончаемый дождь. Тучи столь обложили небо, что уже с полудня, словно бы в зимнюю пору, сделалось темно. К вечеру ливень припустил сильнее. Хмельницкий руки потирал от радости.

– Пускай только степь размокнет, – говорил он Кречовскому, – тогда я, не раздумывая, встречным боем с гусарией сойдуся, они же в своих тяжелых бронях сразу в грязи потонут.

А дождь все лил и лил, словно бы само небо решило подсобить Запорожью.

Войска под струями ливня лениво и угрюмо окапывались. Разжечь костры было невозможно. Несколько тысяч ордынцев выступили из лагеря проследить, чтобы польские отряды, воспользовавшись туманом, дождем и темнотой, не ушли. Затем все совершенно стихло. Слышен был только плеск ливня и шум ветра. С уверенностью можно было сказать, что в обоих лагерях никто глаз не смыкает.

Спозаранку, словно бы тревогу, а не сигнал к сражению, протяжно и тоскливо заиграли в польском стане трубы, затем тут и там заворчали барабаны. День занимался печальный, темный, сырой; стихии унялись, но сеялся еще, словно бы сквозь сито, мелкий дождик.

Хмельницкий велел ударить из пушки.

За нею грохнула вторая, третья, десятая, и, когда из лагеря в лагерь началась обычная канонадная «корреспонденция», Скшетуский сказал своему казацкому ангелу-хранителю:

– Захар, выведи ты меня на шанец поглядеть, что делается.

Захару и самому было интересно, поэтому он не стал отказывать. Они отправились на высокий фланг, откуда как на ладони видна была несколько вогнутая долина, желтоводские болота и оба войска. Едва взглянув, пан Скшетуский схватился за голову и воскликнул:

– Боже Святый! Это же всего-навсего конный отряд, не более!

И правда, брустверы казацкого лагеря протянулись на добрые четверть мили, а польские по сравнению с ними выглядели незначительным редутиком. Разница в силах была столь явная, что в победе казаков невозможно было усомниться.

<sup>67</sup> Самоил Величко, с. 62. – Примеч. автора.

Сердце наместника сжалось. Не пробил, значит, еще последний час для гордыни и бунта, а тому, который пробьет, суждено ознаменовать новый для них триумф. Так оно, во всяком случае, сейчас казалось.

Стычки под орудийным огнем уже начались. С флангового укрепления были видны и отдельные всадники, и целые группки, мерявшиеся друг с другом силами. Это татары сходились с сине-желтыми казаками Потоцких. Всадники насакивали друг на друга, проворно разлетались в стороны, объезжали друг друга с боков, перестреливались из пистолетов и луков, метали копья и пытались заарканить один другого. Издали стычки эти казались скорее игрой, и только кони, там и сям бегавшие без всадников по лугу, были свидетельством тому, что игра велась не на жизнь, а на смерть.

Татар становилось все больше и больше. Вскоре луг почернел от скученных их толп, но тут из польского лагеря одна за одну начали выступать хоругви, строясь в боевые порядки впереди шанца. Происходило это так близко, что пан Скшетуский острым взором своим ясно различал значки, бунчуки и даже ротмистров с наместниками, выезжавших вперед и останавливавшихся каждый несколько сбоку от своей хоругви.

Сердце запрыгало в его груди, на бледном лице вспыхнул румянец, и, словно бы найдя благодарных слушателей в Захаре и казаках, стоявших возле пушек на фланговом укреплении, он возбужденно восклицал, по мере того как хоругви появлялись из-за бруствера:

– Это драгуны пана Балабана! Я их в Черкассах видел!

– Это валашская хоругвь, у них крест в значке!

– Вон! Вон и пехота с вала пошла!

Потом все с большим воодушевлением, раскинув руки:

– Гусария! Гусары пана Чарнецкого!

Действительно, появились и гусары, а за спинами их чашоба крыльев, а над ними лес копий, оплетенных золотою китайкою и увенчанных узкими зелено-черными флажками. Они по шестеро выехали из окопа и выстроились перед бруствером, а при виде их спокойствия, сосредоточенности и собранности слезы радости прямо набежали на глаза Скшетускому и на мгновение застлали взор.

Хотя силы были столь неравные, хотя противу нескольких этих хоругвей стояла черная лавина запорожцев и занявших, как обычно, фланги татар, хотя порядки мятежников таково растянулись по степи, что и конца им не было видно, Скшетуский уже верил в победу. Лицо его смеялось, силы вернулись к нему, взор, безотрывно озиравший луговину, сверкал огнем. Он просто на месте устоять не мог.

– Гей, д и т и н о! – буркнул старый Захар. – И рада бы душа в рай!..

Меж тем несколько отдельных татарских отрядов с криками и воплями «алла!» кинулись вперед. Из лагеря ответили выстрелами. Однако татары пока что брали на испуг. Не доскакавши до польских хоругвей, они разлетались в разные стороны и исчезли среди своих.

И тут подал голос большой сечевой барабан; по сигналу его исполинский татарско-казацкий полумесяц тотчас же рванулся с места вперед. Хмельницкий, как видно, собирался одним ударом смести хоругви и занять лагерь. Случись сумятица, такое стало бы возможно. Однако ничего подобного в польских отрядах не произошло. Они стояли спокойно, развернувшись довольно долгой линией, тыл которой прикрывался окопом, а фланги войсковыми пушками. Следовательно, ударить по ним можно было только с фронта. В какой-то момент казалось, что они примут бой на месте, но, когда полумесяц прошел уже половину луга, в окопе протрубили сигнал к атаке, и мгновенно частокол копий, торчавших до сей поры вверх, разом накренился на высоту конских голов.

– Гусары пошли! – крикнул пан Скшетуский.

И верно, они, склонясь в седлах, двинулись вперед, а вслед им драгунские хоругви и вся боевая линия.

Гусарский удар был страшен. С разгона он пришелся на три куреня – два стеблевских и миргородский – и во мгновение их уничтожил. Вой донесся до ушей пана Скшетуского. Кони и люди, опрокинутые громадной тяжестью железных всадников, легли, точно нива от выдоха грозы. Сопротивление было столь кратковременно, что Скшетускому показалось, будто некое громадное чудовище одним разом проглотило сразу три полка. А ведь в них были отборнейшие сечевики. Кони в запорожских рядах, напуганные шумом крыльев, перестали повиноваться всадникам. Полки ирклевский, кальниболоцкий, минский, шкуринский и титоровский совершенно смешали свои ряды, а под напором бегущих с поля боя стали и сами отступать в беспорядке. Тем временем драгуны подоспели за гусарами и вместе с ними принялись вершить кровавую жатву. Васюринский курень после упорного, но короткого сопротивления рассыпался и в диком переполохе мчался прямо на свои же окопы. Центр сил Хмельницкого неотвратно подавался и, побиваемый, согнанный в беспорядочные толпы, полосуемый мечами, теснимый железным шквалом, никак не мог улучшить время, чтобы остановиться и заново перестроиться.

– Ч о р т и, н е л я х и! – крикнул старый Захар.

Скшетуский словно бы умом повредился. Ослабевший от болезни, он никак не мог совладать с собою, а потому смеялся и плакал одновременно, иногда просто выкрикивая слова команды, словно бы сам вел хоругвь. Захар держал его за полы и других еще вынужден был кликнуть на подмогу.

Сражение настолько переместилось к казацким позициям, что уже даже лица можно было различить. Из окопа палили пушки, но казацкие ядра, побивая как своих, так и неприятеля, способствовали замешательству еще более.

Гусары врезались в составлявший гетманскую гвардию пашковский курень, где находился сам Хмельницкий. И тотчас отчаянный вопль потряс все казацкие ряды: огромный малиновый стяг качнулся и упал.

Но тут Кречовский повел в бой пять тысяч своих. Верхом на исполинской буланой лошади, он летел в первой шеренге без шапки, с занесенной саблею, заставляя поворачивать убегающих с поля битвы низовых, а те, увидев спешившие к ним подкрепления, хоть и беспорядочно, но снова пошли в атаку. Дело в середине линии закипело с новой силой.

На обоих флангах счастье тоже отвращалось от Хмельницкого. Татары, уже дважды отбитые валашскими хоругвями и казаками Потоцких, вовсе потеряли кураж. Под Тугай-беем убили двух лошадей. Победа решительно склонялась на сторону молодого Потоцкого.

Битве, однако, не суждено было продолжиться. Ливень, с некоторого времени и так уже изрядно припустивший, вскоре усилился до такой степени, что за стеною дождя ничего не было видно. Уже не струи, но потоки обрушивались на землю из разверзшихся хлябей небесных. Степь обратилась в озеро. Стемнело настолько, что на расстоянии нескольких шагов человек не мог разглядеть другого. Шум дождя заглушал команды. Отсыревшие мушкеты и самопалы умолкли. Само небо положило конец бойне.

Хмельницкий, промокший до нитки, в ярости прискакал в свой стан. Не сказав ни слова, он укрылся в шатерик из верблюжьих шкур, устроенный специально для него, и сидел там в полном одиночестве, думая невеселые думы.

Его охватило отчаяние. Теперь он понимал, на что дерзнул. Вот он и побит, и отброшен, можно даже сказать, почти разбит, притом столь незначительными силами, что их правильнее было почтить передовым отрядом. Он знал, сколь велика военная мощь Речи Посполитой, он учитывал это, когда решил развязать войну, и, однако, вот просчитался. Так, во всяком случае, казалось ему сейчас, поэтому хватался он за подбритую свою голову, и более всего хотелось ему разmozжить ее о первую попавшуюся пушку. Что же будет, когда дойдет до дела с гетманами и всю Речью Посполитой?

Отчаяние его прервал приход Тугай-бея.

Взор татарина пылал бешенством, лицо было бледно, из-под безусой губы поблескивали зубы.

– Где добыча? Где пленные? Где головы военачальников? Где победа? – стал спрашивать он хрипло.

Хмельницкий сорвался с места.

– Там! – указуя в сторону коронного стана, громогласно ответил он.

– Иди же туда! – рявкнул Тугай-бей. – А не пойдешь, в Крым тебя на веревке поведу.

– И пойду! – сказал Хмельницкий. – Пойду на них еще сегодня! Добычу возьму и плен-ных возьму, но тебе за то придется с ханом объясниться, ибо добычи хочешь, а боя избегаешь!

– Пес! – завыл Тугай-бей. – Ты же ханское войско губишь!

С минуту стояли они друг перед другом, раздувая ноздри, точно два единца. Первым взял себя в руки Хмельницкий.

– Тугай-бей, успокойся! – сказал он. – Небеса прекратили битву, когда Кречовский уже поколебал драгун. Я их знаю! Завтра они будут биться с меньшим задором. Степь размокнет совсем. Гусары не устоят. Завтра все будут наши.

– Ты сказал! – буркнул Тугай-бей.

– И сдержу слово. Тугай-бей, друг мой, хан мне тебя на подмогу прислал, не на беду.

– Ты победить клялся, не проиграть.

– Есть пленные драгуны, хочешь, бери их.

– Давай. Я их на кол велю посадить.

– Не делай этого. Лучше отпусти. Это украинные люди из хоругви Балабана; мы их пошлем, чтобы драгун на нашу сторону перетянули. Будет как с Кречовским.

Тугай-бей, поостыв, быстро глянул на Хмельницкого и пробормотал:

– Змей...

– Хитрость мужеству в цене не уступает. Если склонить драгун к измене, ни один человек из ихних не уйдет, понял?

– Потоцкого возьму я.

– Бери. И Чарнецкого тоже.

– Дай-ка тогда горелки, а то больно знобка.

– Это пожалуй.

В этот момент вошел Кречовский. Полковник был мрачнее тучи. Грядущие долгождан-ные староства, каштелянства, замки и богатства после нынешнего сражения словно бы заво-локло туманом. Завтра могут они исчезнуть безвозвратно, а из тумана, возможно, возникнет вместо них веревка или виселица. Не сожги полковник, уничтожив немцев, за собою мосты, он бы сейчас наверняка обдумывал, как в свою очередь изменить Хмельницкому и перекинуться со своими к Потоцкому.

Но это было уже невозможно.

И посему уселись они втроем за бутылью горелки и стали молча пить. Шум ливня помалу утихал.

Смеркалось.

Пан Скшетуский, ослабевший от счастья, утомленный, бледный, неподвижно лежал на телеге. Захар, привязавшийся к нему, велел своим казакам растянуть над пленником войлоч-ный навесик. Скшетуский слушал печальный шум ливня, но на душе его было погоже, светло, благостно. Ведь это его гусары показали, на что они способны, это его Речь Посполитая дала отпор, достойный своего величия, это же первый натиск казацкой бури напоролся на копья коронных войск. А еще есть гетманы, есть князь Иеремия и столько вельмож, столько шляхты, столько могущества! А надо всем наконец король – *primus inter pares*.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> первый среди равных (лат.).

Гордость переполнила грудь пана Скшетуского, словно бы все непомерные силы эти сосредоточились теперь в нем одном.

Впервые ощущая такое с тех пор, как попал в плен, он почувствовал даже некое сострадание к казакам. «Они виноваты, но и ослеплены, ибо замахнулись на непосильное, – думал он. – Они виноваты, но и несчастны, позволив увлечь себя человеку, который повел их на верную гибель».

Потом мысли его потекли далее. Наступит мир, и каждый тогда о личном счастье своем сможет подумать. Сразу всеми воспоминаниями и всею душой он устремился к Разлогам. Там, рядом с логовом льва, вероятно, тишина ненарушимая. Там никто и не посмеет головы поднимать, а хоть и посмеет – Елена уже наверняка в Лубнах.

Внезапный орудийный гул прервал золотую ниточку его размышлений.

Это Хмельницкий спяну снова повел полки в наступление.

Однако все ограничилось пушечной перестрелкой. Кречовский утихомирил гетмана.

Назавтра было воскресенье. Весь день прошел спокойно и без единого выстрела. Лагерь стояли друг против друга, словно станы двух дружественных армий.

Скшетуский приписывал тишину эту упадку духа среди казаков. Увы! Не ведал он, что Хмельницкий тем временем, «многими уму своего очима поглядая», делал все, чтобы перетянуть на свою сторону драгун Балабана.

В понедельник сражение закипело уже с рассвета. Скшетуский, как и в первый день, обозревал битву, улыбаясь и с веселым выражением на лице. Снова коронные войска выступили за вал. На этот раз, однако, не устремляясь вперед, они давали отпор неприятелю, не сходя с места. Степной грунт размок не только с поверхности, но и в глубину. Тяжелая конница почти не могла передвигаться, что сразу же дало преимущество быстрым запорожским и татарским хоругвям. Улыбка на лице Скшетуского медленно исчезала. Впереди польского окопа лавина атакующих вовсе почти заслонила узкую ленту коронных войск. Казалось вот-вот – и цепочка эта будет прорвана, и начнется штурм самого вала. Скшетуский не замечал теперь и половины того воодушевления, того ратного пыла, с каким хоругви сражались в первый день. Сегодня они упорно оборонялись, но первыми не нападали, не разбивали в пух и прах курени, не сметали, точно ураган, все на своем пути. Степь, раскисшая не только с поверхности, но и на значительную глубину, сделала невозможным прежнее неистовство и действительно вынудила тяжелую кавалерию не отходить от вала. Силу гусар составлял, решая победу, разгон, а они вынуждены были оставаться на одном месте. Хмельницкий же вводил в бой все новые и новые полки. Он поспевал всюду. Сам ведя в атаку каждый курень, он поворачивал назад, почти доскакав до неприятельских сабель. Пыл его постепенно передался запорожцам, и те хотя и гибли бесчисленно, но с криками и вытьем вперегонки неслись на шанец. Они напарывались на стену железных грудей, на острия копий и, разбитые, поредевшие, снова шли в атаку. Хоругви от такого натиска, словно бы дрогнув, подавались, а кое-где и отступали; так борец, стиснутый стальным объятием противника, то слабеет, то снова собирает силы и начинает пересиливать.

К полудню почти все запорожские полки были в огне и сражении. Борьба шла такая упорная, что меж обеими сторонами вырос как бы новый вал – гора конских и человеческих трупов.

Ежеминутно в казацкие окопы из битвы возвращались толпы воинов, раненых, окровавленных, перемазанных грязью, тяжело дышавших, падавших от усталости. Но появлялись они с песнею на устах. Лица их пылали боевым огнем и уверенностью в победе. Теряя сознание, они продолжали кричать: «На погибель!» Отряды, остававшиеся в резерве, рвались в бой.

Пан Скшетуский помрачнел. Польские хоругви стали исчезать за бруствером. Они уже не могли оказывать сопротивления, и отход их отмечала горячая спешка. Заметив это, более двадцати тысяч глоток исторгли радостный вопль. Азарт атаки удвоился. Запорожцы буквально наступали на пятки казакам Потоцкого, прикрывавшим отступающих.

Однако пушки и град мушкетных пуль отбросили их назад. Битва на минуту утихла. В польском стане послышалась труба, предлагавшая переговоры.

Но теперь Хмельницкий переговоров вести не желал. Двенадцать куреней спешили, чтобы вместе с пехотой и татарами идти на штурм укреплений.

Кречовский с тремя тысячами пехоты в решительный момент должен был поспешить им на подмогу. Все барабаны, бубны, литавры и трубы зазвучали разом, заглушая клики и мушкетные залпы.

Пан Скшетуский, содрогаясь, глядел на долгие шеренги не имевшей себе равных запорожской пехоты, рвавшейся к валам и окружавшей их все более тесным кольцом. Длинные полосы белого дыма выстреливали в нее из окопов, словно некая исполинская грудь пыталась сдунуть эту саранчу, неотвратимо наседавшую отовсюду. Пушечные ядра пропахивали в ней борозды, самопалы грохотали все торопливее. Гром не смолкал ни на секунду. Тьмы и тьмы, тая на глазах, конвульсивно изгибаясь, точно огромная раненая змея, все же шли вперед. Вот-вот достигнут! Вот они уже возле вала! Пушки им теперь не страшны! Скшетуский зажмурился.

И тотчас вопросы молниями замелькали в его мозгу: увидит ли он на валах польские значки, когда откроет очи? Увидит или не увидит? Там шумят все громче, там визг какой-то неслыханный. Неужто случилось что-то? Крики летят из самого лагеря.

Что же это? Что же стряслось?

– Боже всемогущий!

Вопль этот исторгся из груди пана Скшетуского, когда, открыв глаза, увидел он на валу вместо огромного золотого коронного стяга малиновый с архангелом.

Позиция была взята.

Вечером наместник узнал от Захара, как все было. Не напрасно Тугай-бей называл Хмельницкого змеем: в минуты самого отчаянного сопротивления подученные Балабановы драгуны перекинулись к казакам и, набросившись с тыла на собственные хоругви, помогли уничтожить их без остатка.

Вечером же наместник увидел пленных и присутствовал при кончине молодого Потоцкого, горло которому пронзила стрела. Прожил тот после поражения всего несколько часов и умер на руках Стефана Чарнецкого. «Скажите отцу... – шептал, отходя, молодой каштелян, – скажите отцу, что я... как рыцарь...», но не смог молвить ничего более. Душа его покинула тело и унеслась к небесам. Скшетуский долго потом не мог забыть это бледное лицо и голубые глаза, вознесенные в смертный час к небу. Пан Чарнецкий клялся над холодеющим телом, что, ежели Господь даст ему обрести свободу, он реками крови за смерть друга и позор поражения отомстит. И ни слезинки не скатилось по суровому лику его, ибо был это рыцарь железный, многожды подвигами отваги прославленный, человек, никаким несчастьем не сгибаемый. И обеты он свои выполнил. Сейчас же, вместо того чтобы предаваться унынию, он первый и ободрял Скшетуского, ужасно терзавшегося из-за поражения и позора Речи Посполитой. «Речь Посполитая не одно поражение понесла, – говорил пан Чарнецкий, – но неистощимые силы таятся в ней. Не сломила ее до сей поры ничья мощь, не сломят и крестьянские бунты, каковые Господь сам и покарает, ибо кто противу власти восстает, тот его воле перечит. Касательно же поражения, каковое и вправду прискорбно, – так кто его понес? Гетманы? Коронные войска? Нет! После отпадения и измены Кречовского войско, которое вел Потоцкий, только передовым отрядом и можно было счесть. Смута неотвратимо распространится по всей Украине, ибо мужичье там заносчивое и к воительству способное, но бунтуют ведь там не впервой. Мятеж утихомирят гетманы с князем Иеремией, силы которых до сей поры стоят нетронутые; значит, чем жарче мятеж вспыхнет, тем, погашенный на сей раз надолго, а может быть, на вечные времена, скорее уймется. Ничтожен верою и невелик духом полагающийся, что какой-то казацкий атаманишка с неким мурзой татарским могут всерьез угрожать могучему народу. Плохи были

бы дела Речи Посполитой, ежели бы какая-то крестьянская смута могла влиять на ее судьбу и существование. Воистину легкомысленно собирались мы в этот поход, – заключил пан Чарнецкий, – и, хотя передовой наш отряд разгромлен, полагаю я, что гетманы не мечом, не оружием, но батогамы могут бунт этот подавить».

И когда говорил он так, казалось, что говорит не пленник, не воин, проигравший битву, но гордый гетман, уверенный в завтрашней победе. Такое величие духа и такая вера в Речь Посполитую были бальзамом для ран наместника. Он собственными глазами наблюдал войско Хмельницкого вблизи, оттого оно его несколько заворожило, тем более что вплоть до сегодняшнего дня сопровождала войску этому удача. Но прав был, пожалуй, пан Чарнецкий. Силы гетманов стоят нетронутые, а за ними – вся мощь Речи Посполитой, вся непререкаемость власти и воли Божьей. Так что расставался наместник с паном Чарнецким весьма ободренный и душой веселый, а расставаясь, спросил еще, не намерен ли тот сразу повести переговоры с Хмельницким об освобождении.

– Тугай-беев я пленник, – ответил пан Стефан. – Ему же и выкуп заплачу, а с атаманишкой этим дела иметь не желаю и заплочным мастерам его прочу.

Захар, устроивший пану Скушетускому свидание с пленниками, возвращаясь с ним к телеге, тоже утешал его:

– Не с молодым Потоцким оно тяжеленько, – говорил он. – С гетманами будет тяжеленько. Дело-то ведь только начато, а чем кончится, один Бог знает! Гей, набрали татары и казаки польского добра, да взять и сохранить не одно и то же. А ты, д и т и н о, не горюй, не с у м у й, тебе и так свобода будет – ты к своим пойдешь, а старый тужить по тебе станет. На старости лет хуже нету одному на свете остаться. А с гетманами тяжеленько будет, ой, тяжеленько!

И правда победа, хоть и блестящая, тем не менее не решила дела в пользу Хмельницкого. Она могла даже обратиться во вред, ибо нетрудно было предвидеть, что великий гетман, мстя за смерть сына, с особым рвением возьмется теперь за сечевиков и сделает все, чтобы одним разом их извести. К слову сказать, великий гетман питал некоторое нерасположение ко князю Иеремии, которое хоть и прикрывалось любезностью, однако довольно часто при различных обстоятельствах проявлялось. Хмельницкий, отлично об этом зная, полагал, что сейчас нерасположение это отойдет на второй план, что краковский властелин первым примирительно протянет руку, чем обеспечит себе помощь прославленного воителя и его могучих ратей. А с такими объединенными силами, под водительством такого вождя, как князь, Хмельницкий пока что не мог и мечтать меряться силой, ибо сам в себя до конца еще не верил. Так что решил он не медлить, а одновременно с вестью о желтоводском поражении появиться на Украине и ударить на гетманов, пока не подросла княжеская помощь.

Поэтому, не давши отдохнуть войскам, он на зорьке следующего после сражения дня повел их дальше. Бросок этот был столь стремителен, словно гетман спасался бегством. Казалось, полая вода заливал степь и мчитя вперед, питаемая по дороге всеми реками и родниками. Шли по лесам и дубравам, по курганам, без роздыха переправлялись через речки. Казацкое войско разрасталось по пути, так как в него постоянно вливались все новые толпы беглых украинских мужиков. Пришлые сообщали сведения о гетманах, но противоречивые. Одни говорили, что князь еще за Днепром, другие – что уже соединился с коронными войсками. Зато все совпадали в одном – Украина в огне. Крестьяне не только сбегали навстречу Хмельницкому в Дикое Поле, но сжигали села и города, поднимались на своих господ и повсеместно вооружались. Коронные войска вели военные действия уже целых две недели. Они вырезали Стеблев, а под Дереньковцем дошло даже до кровавой битвы. Городовые казаки кое-где уже перешли на сторону черни и повсюду ждали только знака. Хмельницкий на это и рассчитывал, а потому спешил еще больше.

Наконец он остановился на подступах. Чигирин распахнул ему ворота настежь. Казацкий гарнизон незамедлительно перешел под его знамена. Дом Чаплинского был разрушен, шляхту,



искавшую укрыться в городе, вырезали. Радостные клики, колокольный звон и крестные ходы не прекращались ни на миг. Пламя тотчас же перекинулось на всю округу. Все живое хваталось за косы, пики и соединялось с запорожцами. Несчислимые толпы простолюдинов стекались к Хмельницкому отовсюду; были получены радостные, ибо достоверные, сведения, что князь Иеремия хотя и предложил помощь гетманам, но пока что с ними не соединился.

Хмельницкий облегченно вздохнул.

Он, не мешкая, двинулся вперед и теперь шел уже сквозь бунт, резню и огонь. Свидетельствовали о том пожарища и трупы. Он шел, точно лавина, уничтожая все на своем пути. Страна перед ним восставала, за ним пустела. Аки мститель, шел он, аки змей многоглавый. Поступь его выжимала кровь, дыхание вздувало пожары.

Остановился он с главными силами в Черкассах, а вперед выслал дикого Кривоноса и татар под водительством Тугай-бея, которые, достигнув гетманов под Корсунем, не раздумывая, по ним ударили. Однако за дерзость свою тут же дорого поплатились. Отброшенные, поредевшие, вдребезги разбитые, они в панике отступили.

Хмельницкий кинулся на помощь. По дороге он узнал, что пан Сенявский во главе нескольких хоругвей соединился с гетманами, которые, оставив Корсунь, пошли на Богуслав. Это оказалось правдой. Хмель занял Корсунь без боя и, оставивши в городе возы и провиант, то есть весь обоз, налегке, верхами погнался за ними.

Преследование было недолгим, так как те ушли недалеко. Под Крутой Балкой передовые отряды наткнулись на польский обоз.

Пану Скшетускому не привелось увидеть битву, ибо вместе с обозом он остался в Корсуне. Захар поселил его на городской площади в доме пана Забокрицкого, которого чернь незадолго до того повесила, и поставил охрану из остатков миргородского куреня, потому что толпа неутомимо грабила дома и убивала каждого, кого полагала ляхом. Сквозь выбитые окна наблюдал пан Скшетуский толпы пьяного сброда, перемазанного кровью, с засученными рукавами метавшегося от дома к дому, от лавки к лавке, обыскивавшего все углы, чердаки, навесы; время от времени страшные вопли возвещали, что обнаружен шляхтич или еврей, мужчина, женщина, ребенок. Жертву вытаскивали на площадь и зверски измывались над нею. Пьянь затеивала драку из-за разорванных в куски останков, с наслаждением размазывала кровь по своим лицам, обкручивала шеи дымящимися внутренностями. Мужики, схватив еврейских детей за ноги, разрывали их надвое под безумный гогот толпы. Совершались нападения и на дома охранявшиеся, где содержались именитые пленники, оставленные в живых ради немалого выкупа. Тогда запорожцы или татары, составлявшие охрану, толпу сдерживали, колотя нападавших прямо по головам древками пик, луками или плетями из бычачьей кожи. Подобное происходило и у дома, где находился Скшетуский. Захар велел учить холопей нещадно, и миргородцы с удовольствием приказ выполняли, ибо хотя низовые в пору мятежей и пользовались охотно помощью черни, но презирали ее куда больше, чем шляхту. Недаром считали они себя «благородженными казаками». Сам Хмельницкий впоследствии неоднократно дарил множество простого народа татарам, которые гнали ясырей в Крым, где продавали в Турцию или Малую Азию.

Так что толпа бесчинствовала на площади и в конце концов дошла до такого исступления, что люди принялись убивать друг друга. Дело шло к вечеру. Была целиком подожжена одна сторона площади, церковь и дом униатского попа. По счастью, ветер относил огонь в поле и мешал пожару распространиться. Однако громадное пламя освещало площадь не слабее солнечных лучей. Стало нестерпимо жарко. Издалека доносился страшный грохот пушек – как видно, битва под Крутой Балкой становилась все упорнее.

– Горячо там, видать, нашим приходится! – ворчал старый Захар. – Гетманы не шутят. Гей же! Пан Потоцкий знатный ж о л н і р.

Потом он указал в окно на толпу и сказал:

– Вона! Они теперь безобразничают, но ежели Хмеля побьют, то и над ними побезобразничают!

В эту минуту послышался конский топот, и на площадь на взмыленных лошадях влетело несколько десятков конных. Лица, почернелые от порохового дыма, истерзанная одежда и пообвязанные тряпками головы некоторых говорили о том, что примчались верховые сюда прямо из боя.

– Л ю д и! Х т о в б о г а в і р у е, р я т у й т е с я! Л я х и б' ю т ь н а ш и х! – истошно прокричали они.

Поднялись вопли и переполох. Толпа заколыхалась, точно волна, вздутая вихрем. Дикое замешательство охватило всех. Народ бросился бежать, но так как улицы были забиты возами, а одна сторона площади горела, убежать было невозможно.

Началась давка, чернь кричала, билась, давила друг друга, вопя о пощаде, хотя неприятель был пока еще далеко.

Наместник, видя, что происходит, чуть с ума не сошел от радости. Он точно помешанный стал бегать по комнате, бить себя кулаками в грудь и кричать:

– Я знал, что так будет! Знал! Будь я не я! Это с гетманами дело иметь! Это со всею Речью Посполитой! Вот оно, возмездие! Что это?

Снова раздался топот, и на этот раз несколько сот верховых, сплошь татар, ворвались на площадь. Убегали они, как видно, не разбирая дороги. Толпа мешала им, и они бросались прямо на нее, топча, побивая, разгоняя, полосуя саблями в надежде прорваться к тракту, ведущему на Черкассы.

– Шибче ветра бегут – закричал Захар.

Едва он сказал это, пронесся еще отряд, а за ним и еще один. Казалось, бегство стало всеобщим. Стража у домов беспокойно заходила туда-сюда, явно намереваясь сбежать. Захар выскочил в палисадник.

– Стоять! – крикнул он своим миргородцам.

Дым, жар, суматоха, конский топот, тревожные голоса, вой освещенной пламенем толпы – все вместе составило одну адскую картину, которую наместник мог наблюдать в окно.

– Какой же там разгром должен быть! Какой же разгром! – кричал он Захару, позабыв, что тот не может разделить его радости.

Меж тем снова как вихрь промчался удиравший отряд.

От грохота орудий сотрясались стены корсунских домов.

Вдруг чей-то пронзительный голос завопил прямо возле дома:

– Спасайся! Хмель убитый! Кречовский убитый! Тугай-бей убитый!

На площади наступил истинный конец света. Люди, потеряв рассудок, кидались в огонь. Наместник упал на колени и вознес руки к небу.

– Господи всемогущий! Господи великий и справедливый, слава тебе в вышних!

Захар, вбежав из сеней, прервал его молитву.

– А послушай-ка, д и т и н о! – закричал он, запыхавшись. – Выйди и посули миргородцам прощение, не то они собираются уходить, а как уйдут, сюда сброд ворвется!

Скшетуский вышел в палисадник. Миргородцы беспокойно ходили возле дома, обнаруживая явное желание оставить пост и удрать по шляху, ведущему на Черкассы. Страх охватил весь город. То и дело новые отряды разбитых войск, словно на крыльях, прилетали со стороны Крутой Балки. Бежали в величайшем замешательстве мужики, татары, городовые казаки и запорожцы. Но главные силы Хмельницкого, вероятно, еще оказывали сопротивление, битва, вероятно, не была еще вполне решена, ибо пушки грохотали с удвоенной силой.

Скшетуский обратился к миргородцам.

– За то, что неусыпно стерегли особу мою, – сказал он торжественно, – не надобно вам бегством спасаться, обещаю заступничество и прощение гетмана.

Миргородцы все как один снимали шапки, а он, подбоченясь, гордо взирал на них и на площадь, все более пустевшую. Какая перемена судьбы! Вот пан Скшетуский, недавний пленник, возимый за казацким войском, стоит сейчас посреди наглого казачья господином среди подданных, шляхтичем среди холопов, панцирным гусаром среди обозников. Он, пленник, обещает миловать, и шапки перед ним ломают, а покаянные голоса зывают тем угрюмым, протяжным, свойственным страху и покорности манером:

– П о м и л у й т е, п а н е!

– Как сказал, так оно и будет! – отвечает наместник.

Он и в самом деле уверен в успехе своего ходатайства у гетмана, которому знаком, ибо неоднократно возил письма от князя Иеремии и сумел завоевать гетманское расположение. Потому и стоит он, подбоченясь, и ликование написано на лице его, освещенном отблесками пожара.

«Вот и окончена война! Вот и разбился вал о пороги! – думает он. – Пан Чарнецкий был прав: неисчерпаемы силы Речи Посполитой, неизбежно могущество ее».

А пока он таково думал, гордость переполняла грудь его, но не мелочная гордость по поводу ожидаемого упоения возмездием, унижения врага или обретения вот-вот имеющей наступить свободы и не оттого гордость, что перед ним сейчас ломают шапки, нет, он ощущал в себе гордость оттого, что был сыном Речи Посполитой, победоносной, всесильной, о врата которой всяческая злоба, всякое злонамерение, все удары разбиваются в прах, как силы ада о врата небесные. Он чувствовал в себе гордость как шляхтич-патриот, ободренный в отчаянии и не обманутый в вере своей. Отмщения же он теперь не жаждал.

«Победила, как государыня – простит, как мать», – думал он.

Тем временем орудийная канонада превратилась в непрерывный грохот.

Конские копыта снова заколотили по пустым улицам. На площадь, точно гром небесный, влетел на неоседланном коне казак. Он был без шапки, в одной рубашке, с рассеченным саблей лицом, залитым кровью. Примчавшись, казак осадил коня, раскинул руки и, ловя разинутым ртом воздух, стал кричать:

– Х м е л ь б ' е л ь х і в! П о б и т і я с н о в е л ь м о ж н і п а н и, г е т ь м а н и і п о л к о в н и к и, л и ц а р і і к а в а л е р и!

Прокричав это, он зашатался и грохнулся оземь. Миргородцы бросились ему на помощь. Жар и бледность сменялись на лице Скшетуского.

– Что он говорит? – горячечно стал спрашивать он Захара. – Что случилось? Не может такого быть. Богом живым клянусь! Не может такого быть!

Тишина! Только пламя гудит на другой стороне площади, с треском взлетают снопы искр, а то и догорающее строение обрушивается с гулом.

Но вот и новые какие-то гонцы мчатся.

– П о б и т і л ь х и! П о б и т і!

За ними вступает татарский отряд – не спеша, потому что окружает пеших, как видно, пленных.

Пан Скшетуский не верит глазам своим. Он ясно различает на пленных мундиры гетманских гусар, поэтому всплескивает руками и странным, не своим голосом упорно повторяет:

– Не может быть! Не может быть!

Грохот пушек еще не умолк. Сражение продолжается. Однако по всем уцелевшим улицам подходят толпы запорожцев и татар. Лица их черны, груди тяжело дышат, но идут они отчего-то воодушевленные, песни поют!

Так солдаты могут возвращаться только с победой.

Наместник сделался бледен как мертвец.

– Не может быть, – повторяет он все более хрипло. – Не может быть... Речь Посполитая...

Новое зрелище привлекает его взор.

Появляются казаки Кречовского с целыми охапками знамен. Они выезжают на середину площади и швыряют их наземь.

Знамена – польские.

Орудийный грохот слабнет, в отдалении слышен лишь перестук подъезжающих возов. Впереди высокая казацкая телега, за нею вереница других – все в окружении желтошапочных казаков пашковского куреня; они проезжают мимо дома, который стерегут миргородцы. Пан Скшетуский, всматриваясь в пленных на первом возу, глядит из-под руки, ибо его слепит свет пожара.

Внезапно он отшатывается, машет руками, точно человек, пораженный стрелой в грудь, а из уст его исторгается страшный, нечеловеческий крик:

– Иисус, Мария! Это гетманы!

И падает на руки Захара. Глаза ему застилает пелена, лицо напрягается и застывает, как у покойника.

Несколькими минутами позже три всадника во главе несчислимых полков въезжали на корсунскую площадь. Ехавший посредине, одетый в алое, сидел на белом коне, подпершись златоблещущей булавою, и глядел гордо, по-королевски.

Это был Хмельницкий. С боков ехали Тугай-бей и Кречовский.

Окровавленная Речь Посполитая лежала во прахе у ног казака.

## Глава XVI

Прошло несколько дней. Небеса, казалось, обрушились на Речь Посполитую. Желтые Воды, Корсунь, разгром всегда победоносных в борьбе с казаками коронных войск, пленение гетманов, страшный пожар, объявивший Украину, резня, неслыханные от начала мира зверства – все это стряслось так неожиданно, что люди просто поверить не могли, чтобы столько бедствий сразу могло выпасть на долю одной страны. Кое-кто и не верил, кое-кто оцепенел от ужаса, иные лишились рассудка, иные пророчили пришествие антихриста и неотвратимо близкий Страшный суд. Нарушились все общественные связи, все взаимоотношения, как человеческие, так и родовые. Пресеклась всяческая власть, различия исчезли между людьми. Преисподняя спустила с цепей все преступления и пустила их гулять по свету; убийство, грабеж, вероломство, озверение, насилие, разбой, безумие заступили место прилежания, честности, веры и совести. Казалось, отныне человечество уже не добром, но злом жить станет, что извратились сердца и умы, что полагают теперь святым прежде бывшее мерзким, а мерзким – прежде считавшееся святым. Солнце не сияло больше в небе, ибо сокрыто было дымами пожарищ, ночами вместо звезд и месяца светили пожоги. Горели города, деревни, храмы, усадьбы, леса. Люди перестали пользоваться человеческой речью, они или стонали, или по-собачьи выли. Жизнь потеряла всякую цену. Тысячи и тысячи гибли без ропота и поминовения. А из всех этих крушений, смертей, стонов, дымов и пожаров вырастал все выше и выше один человек, становясь грозней и громадней, почти заслонив уже свет белый и отбрасывая тень от моря до моря.

Это был Богдан Хмельницкий.

Двести тысяч вооруженных и окрыленных победами людей были теперь готовы на все, стоило ему пошевелить пальцем. Городовые казаки присоединялись к нему во всех городах. Край от Припяти и до рубежей степных был в огне. Восстание ширилось в воеводствах Русском, Подольском, Волынском, Брацлавском, Киевском и Черниговском. Войско гетмана росло ото дня ко дню. Никогда еще Речь Посполитая не выставляла даже против самого грозного врага и половины тех сил, какими сейчас располагал он. Равных не имел в своем распоряжении и немецкий император. Буря переросла все ожидания. Сперва сам гетман не отдавал себе отчета в собственной мощи и не понимал, сколь высоко он вознесся. Он пока еще декларировал по отношению к Речи Посполитой лояльность, законопослушание и верность, ибо не осознал, что понятия эти, как ничего не значащие, уже мог топтать. Однако по мере развития событий укреплялся в нем и тот безмерный, безотчетный эгоизм, равного которому не знала история. Ощущение зла и добра, преступления и добродетели, насилия и справедливости смешались в понятиях Хмельницкого в одно с ощущением собственной обиды и своекорыстия. Тот был для него добродетелен, кто держал его сторону; тот преступник, кто ему супротивничал. Он готов был и солнцу пенять, полагая личным против себя злоумышлением, если оно не светило тогда, когда ему, Хмельницкому, бывало это необходимо. Людей, события и целый мир он подгонял к собственному «я». И, несмотря на всю хитрость, на все лицемерие гетмана, были некие чудовищные благие намерения в таковом его подходе. Из них проистекали не только все его прегрешения, но и поступки добрые, ибо насколько не знал он удержу в издевательствах и жестокостях по отношению к врагу, настолько умел быть благодарен за все, пусть даже случайные, услуги, лично ему оказанные.

Лишь будучи пьян, забывал он о благодетельстве и, рыча в безумии, отдавал с пеною на устах кровавые приказы, о которых потом сожалел. А по мере того, как росли его успехи, пьяным он бывал все чаще, ибо все большая охватывала его тревога. Казалось, триумфы вознесли его на такие высоты, на какие он сам возноситься не намеревался. Могущество его, изумлявшее других, изумляло и его самого. Исполинская рука мятежа, увлекши гетмана, несла его с молниеносной быстротой и неотвратимостью, но куда? Как всему этому суждено было завер-

шиться? Затеяв смуту ради личных своих обид, этот казацкий дипломат не мог не предполагать, что после первых успехов или даже поражений он начнет переговоры, что ему предложат прощение, удовлетворение обид и возмещение убытков. Он хорошо знал Речь Посполитую, терпеливость ее, безбрежную как море, ее милосердие, не знающее границ и меры, проистекавшее вовсе не из слабости, ибо даже и Наливайке, окруженному уже и обреченному, предлагалось прощение. Но теперь, после победы у Желтых Вод, после разгрома гетманов, после разгула усобицы во всех южных воеводствах, дело зашло слишком далеко; события переросли всяческие ожидания – теперь борьба пойдет не на жизнь, а на смерть.

Но на чьей же стороне будет победа?

Хмельницкий спрашивал гадалщиков и от звезд ждал ответа, и сам тоже вглядывался в грядущее – но впереди видел только мрак. И бывало, что от страшных предчувствий дыбом вставали волосы его, а из груди, точно вихрь, рвалось отчаяние. Что будет? Что будет? Он, Хмельницкий, бывший прозорливее других, соответственно и понимал лучше других, что Речь Посполитая не умеет распорядиться своими силами, что просто-напросто не имеет о них представления, хотя могущественна безмерно. Получи кто-то возможность использовать это могущество, кто бы тогда мог тому человеку противостоять? А кто мог знать, не поумерятся ли ввиду страшной опасности, близкого крушения и гибели внутренние раздоры, свары, своекорыстие, интриги панов, склоки, сеймовое пусторечие, шляхетское самодурство, бессильность короля. Тогда полмиллиона одного лишь дворянского сословия могут выйти на поле брани и расправиться с Хмельницким, даже будь с гетманом не только хан крымский, но и сам султан турецкий.

О дремлющем этом могуществе Речи Посполитой знал, кроме Хмельницкого, и покойный король Владислав, а посему, пока был жив, намеревался с величайшим на свете властелином повести борьбу не на жизнь, а на смерть, ибо только таким образом скрытые эти силы могли быть пробуждены. Ради планов своих король не поколебался заронить искру и в казацкий порох. Было ли predetermined именно казакам вызвать это половодье, чтобы в нем и захлебнуться в конце концов?

Хмельницкий знал также, каким страшным, несмотря на всю слабость, будет отпор этой самой Речи Посполитой. Ведь в нее, столь расхлябанную, непрочно связанную, раздираемую, своевольную, беспорядочную, били наигрознейшие в мире турецкие валы и разбивались, как о скалу. Так оно было под Хотинном, что, можно сказать, он собственными глазами видел. Эта самая Речь Посполитая даже и во дни слабости своей водружала знамена на стенах чужих столиц. Какой же она теперь даст отпор? Чем удивит, доведенная до отчаяния, когда надо будет или умереть, или победить?

Поэтому каждый триумф Хмельницкого оборачивался для него самой новой опасностью, так как близил пробуждение дремлющего льва и делал все более невозможными мирные переговоры. В каждой победе сокрыто было грядущее поражение, в каждом ликовании – на доньшке горечь. Теперь ответом на казацкую бурю должна была грянуть буря Речи Посполитой. Хмельницкому казалось, что он слышит уже глухое, отдаленное рокотание.

Вот-вот – и из Великой Польши, Пруссии, многолюдной Мазовии, Малой Польши и Литвы подойдут легионы воинов, им нужен только вождь.

Хмельницкий взял в плен гетманов, но и в этой удаче можно было усмотреть как бы ловушку судьбы. Гетманы были опытными воителями, но ни тот, ни другой не были тем, кто соответствовал сей године гнева, ужаса и невзгод.

Вождем мог быть только один человек.

Звался он – князь Иеремия Вишневецкий.

Именно потому, что гетманы попали в неволю, выбор, вероятнее всего, должен был пасть на князя. Хмельницкий, как и остальные, в этом не сомневался.

А между тем в Корсунь, где гетман запорожский остановился после битвы для отдыха, с Заднепровья доходили вести, что страшный князь уже двинулся из Лубен, что по пути немилосердно искореняет бунт, что, где пройдет, там исчезают деревни, слободы, хутора и местечки, но зато воздвигаются кровавые колы и виселицы. Страх удвоивал и утроивал количество его войск. Говорили, что ведет он пятнадцать тысяч наотборнейшей рати, какая только могла сискаться во всей Речи Посполитой.

В казацком стане его ожидали с минуты на минуту. Вскоре после битвы под Крутой Балкой среди казаков кто-то закричал: «Ярема идет!», и чернь охватила паника – началось беспорядочное бегство. Паника эта заставила Хмельницкого сильно призадуматься.

Ему теперь предстояло решить: или двинуться со всеми силами против князя и искать с ним встречи в Заднепровье, или, оставив часть войск для покорения украинских замков, двинуться в глубь Речи Посполитой.

Поход на князя был чреват опасностями. Имея дело с таким прославленным военачальником, Хмельницкий, несмотря на все свое численное превосходство, мог потерпеть поражение в решающей битве, и тогда сразу все было бы потеряно. Чернь, преобладавшая в его войске, уже показала, что разбегается от одного только имени Яремы. Требовалось время, чтобы превратить ее в армию, могущую противостоять княжеским полкам.

Опять же и князь, вероятно, не принял бы решающего сражения, он ограничился бы обороной в замках и отдельными стычками, которые затянули бы войну на месяцы, если не на годы, а меж тем Речь Посполитая, без сомнения, собрала бы новые силы и двинулась на помощь князю.

Вот почему Хмельницкий решил оставить Вишневецкого в Заднепровье, а сам – укрепиться на Украине, навести порядок в своих войсках, а затем, двинувшись на Речь Посполитую, вынудить ее к переговорам. Он рассчитывал, что подавление мятежей в Заднепровье надолго отвлечет на себя княжеские силы, а ему при этом развяжет руки. Смуту же на Заднепровье решил он подогревать, высылая отдельные полки на подмогу черни.

И еще придумал он сбивать князя с толку переговорами и протянуть время, покуда княжеское войско не ослабеет. Тут он вспомнил про Скшетуского.

Через несколько дней после Крутой Балки, а именно в день, когда среди черни возник переполюх, он велел позвать к себе пленника.

Принял он его в старостовом доме в присутствии одного только Кречовского, бывшего Скшетускому давним знакомым, и, милостиво встретив, хоть и не без напускной важности, соответствующей нынешнему своему положению, сказал:

– Досточтимый поручик Скшетуский, за услугу, какую ты оказал мне, я выкупил тебя у Тугай-бея и обещал свободу. Время пришло. Я дам тебе пернач<sup>69</sup>, дабы тебе, если встретишь какие войска, было возможно свободно проехать, и конвой для защиты от мужичья. Можешь возвращаться к своему князю.

Скшетуский молчал. Даже подобия радостной улыбки не появилось на лице его.

– Готов ли отправиться? Вроде бы вижу я хворость в тебе какую-то.

Пан Скшетуский и в самом деле выглядел как тень. Раны и недавние события подкосили могучего молодого человека, и сейчас у него был вид больного, не обещающего дожить до завтра. Изможденное лицо пожелтело, а черная, давно уже не бритая борода еще более изможденность эту подчеркивала. Всему причиной были душевные терзания. Рыцарь ел себя поедом. Находясь в казацком обозе, был он свидетелем всему, что произошло с момента выступления из Сечи. Видел он позор и беду Речи Посполитой, полоненных гетманов; видел казацкие триумфы, пирамиды, сложенные из голов, отрубленных у павших жолнеров, шляхту, подвешиваемую за ребра, отрезанные груди женщин, надругательства над девицами; видел отчаяние

---

<sup>69</sup> Полковничья казацкая булава, заменявшая у казаков охранную грамоту. – *Примеч. автора.*

отваги и позорность страха – видел все. Все выстрадал и продолжал страдать тем более, что в голове его и груди жалом засела мысль, что сам он и есть невольный виновник всему, ибо он, и никто другой, перерезал удавку на шее Хмельницкого. Но разве же мог христианский рыцарь предположить, что помощь ближнему породит таковые плоды? И страдания его были безмерны.

А когда задавал он себе вопрос, что с Еленой, и когда представлял, что могло случиться, если злосчастная судьба задержала ее в Разлогах, то воздевал к небу руки и зывал голосом, исполненным безысходного отчаяния и дерзновения: «Господи! Возьми же душу мою, ибо здесь мне выпало испытать более, чем я заслуживаю!» Однако тут же спохватывался, понимая, что кощунствует, а посему падал на лицо и молил о спасении, о прощении, о том, чтобы Господь сжалился над отчищеною и над голубицею сей невинной, которая, быть может, вотще зывает к Божьему милосердию и его, Скшетуского, помощи. Короче говоря, он так извелся, что дарованная свобода его не обрадовала, а этот самый гетман запорожский, триумфатор этот, желавший выглядеть великодушным, милости свои являя, и вовсе был ему неприятен, что заметив, Хмельницкий поморщился и сказал:

– Поспеш же воспользоваться великодушием, не то я раздумать могу; добродетель моя и упование на успех делают меня столь неосмотрительным, что я врага себе приобретаю, ибо знаю хорошо, что уж ты-то против меня сражаться будешь.

На что пан Скшетуский:

– Если Бог даст сил.

И таково глянул на Хмельницкого, что прямо в душу тому проник, а гетман, взгляда его выдержать не умея, уставил очи в землю и лишь спустя некоторое время подал голос:

– Ладно, довольно об этом. Я достаточно силен, чтобы какой-то мозгляк мог для меня что-то значить. Расскажешь князю, господину своему, что тут видел, и остережешь от слишком дерзких поступков, ибо, если у меня лопнет терпение, то я навещу его на Заднепровье и не думаю, что мой визит будет ему приятен.

Скшетуский молчал.

– Я говорил уже и еще раз повторяю, – продолжал Хмельницкий, – не с Речью Посполитой, но с вельможами я воюю, а князь среди них не последний. Враг он мне и народу русскому, отщепенец от церкви нашей и изверг. Наслышан я, что он мятеж в крови топит, пускай же поостережется, как бы свою не пролить.

Говоря это, он все более возбуждался. Кровь бросилась ему в голову, а глаза стали метать молнии. Ясно было, что гетман в очередном припадке гнева и ярости, когда он все забывал и сам забывался.

– На веревке велю Кривоносу привести его! – кричал он. – Под ноги себе повергну! На коня с его хребта садиться стану!

Скшетуский поглядел свысока на метавшегося Хмельницкого, а затем спокойно сказал:

– Сперва победи его.

– Ясновельможный гетман! – вмешался Кречовский. – Пусть же этот дерзкий шляхтич скорей уезжает, ибо не пристало тебе во гнев из-за него впадать, а раз ты ему обещал свободу, он рассчитывает, что ты или нарушишь слово, или инвективы его будешь вынужден слушать.

Хмельницкий поутихнул, хотя некоторое время продолжал тяжело дышать, а затем сказал:

– Пускай же в таком случае отправляется и знает, что Хмельницкий добром за добро платит. Дать ему пернач, как было сказано, и сорок татар, которые его до поляков проводят.

Потом, обратясь к Скшетускому, добавил:

– Ты же знай, что мы теперь с тобой квиты. Полюбил я тебя, несмотря на твою дерзость, но, если еще раз попадешься, выкрутиться не мечтай.

Скшетуский вышел с Кречовским.



– Раз гетман отпускает тебя целым и невредимым, – сказал Кречовский, – и ты волен ехать, куда пожелаешь, то скажу я тебе по старому приятельству: беги хоть в самую Варшаву, но не за Днепр, потому что оттуда никто из ваших живым не уйдет. Ваше время прошло. Будь ты человеком разумным, ты бы остался с нами, но знаю я, что про это говорить с тобой дело пустое. А ты бы высоко пошел, как и мы.

– На виселицу, – буркнул Скшетуский.

– Не пожелаю тебе дать Литинского староства, а теперь я сам десять староств возьму. Выгоним панов Конецпольских, да Калиновских, да Потоцких, да Любомирских, да Вишневецких, да Заславских, да всю шляхту, а сами их имением поделимся, что опять же согласно с Божиим промыслом, коль скоро дарованы нам уже две столь блестящие виктории.

Скшетуский, не слушая полковника, задумался о чем-то своем, а тот продолжал:

– Когда я после сражения и победы нашей повидал в Тугаевой ставке захваченного в плен господина моего и благодетеля, ясновельможного гетмана коронного, он меня тотчас же неблагодарным и иудой честить изволил. А я ему: «Ясновельможный воевода! Вовсе я не такой неблагодарный, ибо когда в твоих замках и поместьях сяду, только пообещай, что напиваться не будешь, и я тебя подстаростой сделаю». Хо-хо! Поимеет Тугай-бей за пташек этих пойманных и потому их не трогает. Мы бы с Хмельницким по-другому с ними разговаривали. Однако – эвона! – телега твоя готова и татары в седлах сидят. Куда же ты направляешься?

– В Чигирин.

– Как постелешь, так и поспишь. Ордынцы проводят тебя хоть бы и до самых Лубен, потому что так им приказано. Похлопочи только, чтобы твой князь на колы их не посадил, что с казаками не преминул бы сделать. Потому и дали татар. Гетман велел и коня тебе вернуть. Бывай же здоров, нас вспоминай добром, а князю кланяйся и, ежели сумеешь, уговори его к Хмельницкому на поклон приехать. Возможно, милостиво будет принят. Бывай же здоров!

Скшетуский взобрался на телегу, которую ордынцы тотчас окружили кольцом, и отправился в путь. Проехать через площадь оказалось делом нелегким, потому что вся она была запружена казаками и мужичьем. И те, и другие варили кашу, распевая песни о желтоводской и корсунской победах, уже сложенные слепцами-лирниками, во множестве невесть откуда прибредшими в лагерь. Меж костров, пламенем своим облизывающих котлы с кашей, там и сям лежали тела умерших женщин, которых насиловали ночью победители, или возвышались пирамиды, сложенные из голов, отрубленных после битвы у раненых и убитых солдат противника. Трупы эти и головы начали уже разлагаться и издавали тлетворный запах, казалось, вовсе не беспокоивший людское скопище. В городе бросались в глаза следы опустошений и дикого разгула запорожцев: окна и двери повывломаны, обломки и осколки бесценных предметов, перемешанные с птичьим пухом и соломой, завалили площадь. По карнизам домов висели повешенные, в основном евреи, а сброд развлекался, цепляясь за ноги их и раскачиваясь.

По одну сторону площади чернели пепелища сгоревших домов и приходского костела; от пепелищ этих еще тянуло жаром, и над ними курился дым. Запах гари стоял в воздухе. За сожженными домами находился кош и согнанные ясыри под присмотром многочисленной татарской стражи, мимо которых пан Скшетуский вынужден был проехать. Кто в окрестностях Чигирина, Черкасс и Корсуни не успел скрыться или не погиб под топором черни, тот угодил в неволю. Среди пленников были и солдаты, плененные в обоих сражениях, и окрестные жители, до сей поры не успевшие или не пожелавшие присоединиться к бунту: люди из оседлой шляхты или просто шляхетского звания, подстаросты, офицеры, хуторяне, однодворцы из захолустьев, женщины и дети. Стариков не было: их, негодных на продажу, татары убивали. Орда уводила целые русские деревни и поселения, чему Хмельницкий не смел противиться. Неоднократно случалось, что мужики уходили в казачье войско, а в благодарность татары сжигали их дома и уводили жен и детей. Увы, среди поголовного разгула и одичания никого это уже не волновало, никто не искал управы. Простолюдины, берясь за оружие, отрекались от родных гнезд, жен и

детей. Коль скоро отбирали жен у них, отбирали и они, и даже получше, потому что «ляшек», которых, натешившись и наглумившись, они убивали или продавали ордынцам. Среди полонянок довольно было также и украинских м о л о д ц ь, связанных с паннами из шляхетских домов по три или по четыре одною веревкою. Неволья и недоля уравнивали сословия. Вид этих несчастных потрясал душу и порождал жажду мести. В лохмотьях, полунагие, беззащитные перед непристойными шутками поганных, интереса ради слонявшихся толпами по майдану, поверженные, избитые или лобызаемые мерзкими устами, они теряли рассудок и волю. Одни всхлипывали или на голос рыдали, другие – с остановившимся взором, с безумием в глазах и разинутым ртом – безучастно поддавались всему, что с ними совершалось. То тут, то там раздавался истошный вопль человека, зверски убиваемого за вспышку отчаянного сопротивления; плети из бычачьей кожи то и дело свистели над толпами пленников-мужчин, и свист этот сливался с воплями страданий, плачем детей, мычанием скота и конским ржаньем. Ясыри не были еще поделены и построены для конвоирования, поэтому повсюду царил страшная неразбериха. Возы, кони, рогатый скот, верблюды, овцы, женщины, мужчины, груды награбленного платья, посуды, ковров, оружия – все это, скученное на огромном пространстве, еще ожидало дележа и разбора. То и дело пригонялись новые толпы людей и скота, нагруженные паромы пересекали Рось, из главного же коша прибывали все новые и новые гости, дабы порадовать взоры видом собранных богатств. Некоторые, хмельные от кумыса или горелки, напив на себя странные одежды – ризы, стихари, русские рясы или даже женское платье, – уже ссорились, учиняли свары и ярмарочный гвалт по поводу того, что кому достанется. Татарские чабаны, сидя возле своих гуртов на земле, развлекались – одни высвистывая на дудках пронзительные мелодии, другие – играя в кости и взаимно колотя друг друга палками. Стаи собак, прибежавших вослед своим хозяевам, лаяли и жалобно выли.

Пан Скшетуский миновал наконец человеческую эту геенну, оглашаемую стенаниями, полную слез, горя и жутких воплей, и решил было, что наконец переведет дух, однако тотчас новое жуткое зрелище открылось его взору. В отдалении, откуда доносилось немолчное конское ржание, серел собственно кош, кишевший тысячами татар, а ближе, на поле, тут же возле тракта, ведущего на Черкасы, молодые воины упражнялись в стрельбе из лука, забавы ради пуская стрелы в слабых или больных пленников, которым долгая дорога в Крым оказалась бы не под силу. Несколько десятков трупов уже лежали на дороге, продырявленные, как решета, некоторые еще дергались в конвульсиях. Те, в кого стреляли, висели, привязанные за руки к придорожным деревьям. Были среди них и старые женщины. Радостному после удачного выстрела смеху вторили восклицания:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.